

## ОЧЕРКИ

### ПЕРВАЯ ЛОШАДЬ

По окончании техникума я получила направление работать агрономом Ильинского отделения совхоза «Матвеевский», одного из самых глухих совхозов области. Приехала на место назначения в начале апреля. До сева оставалось не больше месяца. На правах специалиста я могла требовать себе транспорт. Никакие технические средства передвижения меня не устраивали, я была из тех, кто спит и во сне видит лошадь. Поэтому и приставала к зоотехнику:

— Дайте мне лошадь. Мне необходима разъездная лошадь!

Зоотехником работал Дмитрий Павлович Потехин, для краткости все его звали Дим Палыч. Управляющим был могучий, революционной закалки старик Иван Иванович Ласточкин, который прямо-таки испугал меня тем, что с первого дня начал величать — и другим велел — по имени-отчеству. Управляющий был старше меня ровно в четыре раза. С высоты своего положения и возраста приказал зоотехнику:

— Подберите Татьяне Николаевне лошадь. Посмирнее.

Дим Палыч тяжело вздохнул:

— Ладно, будет лошадь.

В ту пору деревни уже не изобиловали лошадьми. Наверно, подобрать (или отобрать у кого-то) лошадь было не так просто. Прошла неделя, а лошади не было. Волнуясь, напомнила. Дим Палыч отмахнулся.

— Да будет тебе лошадь!

Управляющий посмотрел сурово:

— Чтоб лошадь завтра же была!

— Вот привязалась! — возмутился Дим Палыч. — Такая молодая и такая настырная. Ладно, поедем завтра в Артемьевское, оттуда приведешь лошадь.

Артемьевское оказалось в семи верстах от центра отделения. Пока мы ехали в розвальнях, которые довольно ходко несла по снегу

мохнатая лошаденка зоотехника, он делился своими сомнениями:

— Еще отдаст ли Колька Зорьку? Ничего, отвоюем!

Клочковато линияющая, лохматая Зорька была похожа скорее на медведя, чем на лошадь. Молодой скотник, кудрявый и кареглазый, вывел Зорьку из телятника, заседлал. Был он не женат. Наверно, этому последнему обстоятельству я и была обязана тем, что Зорьку он отдал без скандала.

Зорька стыдливо топталась на сыром апрельском снегу, словно стеснялась своих размеров — была она крупна, — своей, повышенной лохматости и худобы.

— С-сидись, — сказал скотник. Он заметно заикался.

— Страшно...

— Вот еще! Она с-с-мирная!

Не желая ударить лицом в грязь, я решительно подошла и вскарабкалась в седло. Впервые оказалась на лошади, и небо показалось мне с овчинку.

Колька хлестнул Зорьку, та вздрогнула и шагнула. Я вцепилась в луку седла так, что пальцы побелели. Мне казалось, что Зорька непременно поведет, на то она и лошадь. Однако Зорька хорошо слушалась повода. Одно смущало меня: она то и дело останавливалась, норовя вернуться в деревню.

У меня хватило мужества ровно настолько, чтоб скрыться из виду за перелеском, там я трусливо сползла с кобылы. Ехать было слишком страшно. Повела за самый кончик повода, чтоб лошадь была от меня как можно дальше. Повод был длинный, а Зорька все время норовила пристроиться вплотную, едва не тычась носом в спину. Вдруг укусит? Я прибавила ходу. Лошадь тоже ускорила шаг. Я припустила бегом. Зорька тоже. Я стала петлять, кидаясь из стороны в сторону. Наконец запыхалась и, хватая ртом воздух, непослушными от страха руками привязала лошадь к дереву. Села на пенек на безопасном расстоянии. Отдохнуть. Во рту пересохло, как после финиша... И на что мне эта лошадь? Зачем я ее просила? Но если бы мне в эту минуту сказали: «Верни лошадь», — я сражалась бы до последнего. Сколько лет мечтала о лошади! Во всех школьных тетрадах, а после и в студенческих, вместо лекций по страницам, исписанным стихами, скакали лошади.

Лошади уносили меня в страну возвышенных чувств, и сердце мое билось учащенно. Как же я откажусь от лошади теперь, когда стала обладательницей этого живого чуда? Никак невозможно! Мы привыкнем, научимся понимать друг друга, и она не будет так странно вести себя...

Сидеть долго было небезопасно: вот-вот Дим Палыч появится, возвращаясь домой. Стыдно, если увидит мою беспомощность. Обмирая, я взгромоздилась в седло.

...На молодой весенней травке Зорька забыла о скудной зимовке,

выправилась и похорошела. Ездить верхом я научилась довольно быстро. И грех было не научиться. Скотник не соврал, она действительно была смирной лошадей. В посевную хорошо меня выручала. Ездить приходилось много. И тут оказалось, что у Зорьки испорчены ноги. После хорошей езды она хромала на обе задние. Испортил ее бригадир, брат Дима Палыча, Михаил. Возвращался ночью домой пьяный и сослепу зарулил под мост. Сани зацепились за что-то в воде. Он хлестал озлобленно лошадь, она не могла сдвинуться с места, только натужно рвалась и приседала. Так и заночевала по брюхо в ледяной воде на январском морозе. Бригадир ушел домой, благо деревня была рядом. Зорьку нашли под мостом только утром.

С той поры Зорька и стала сдавать. При умеренной езде порок ее не был заметен, на небольшие расстояния она бежала так, что душа пела, но после хорошей езды ей необходим был отдых.

Я жалела Зорьку и старалась не переутомлять ее. Когда особо спешить было некуда, возвращалась домой пешком. Зорьку даже вести в поводу не надо было. Благодушно пофыркивая, она вышагивала рядом. И так привыкла к нашим пешим прогулкам, что иной раз требовала: слезай! Остановливалась и топталась на месте, добиваясь своего. Я смеялась и не понукала, а подчинялась. Но если на пути была деревня или шел навстречу человек, я стыдилась своей жалости, старалась проехать с шиком, лихачила. Зорька так привыкла к этой моей странности, что иногда, совершенно неожиданно, первой заметив идущего навстречу человека, подбиралась вся, круто изгибала шею и пускалась вскачь — в угоду мне несла, раздувая ноздри.

Зорька ревновала меня к незнакомым людям. Случалось, веду ее в поводу, разговариваю с идущим рядом человеком, а она настойчиво мордой его отталкивает. Иногда так наддаст, что собеседник едва на ногах удержится. Или, бывало, сяду в трактор; трактор пашет, а Зорька за ним по полю неотступно ходит.

Немало мы с ней вместе совхозных дорог исколесили. Все было: и радости, и неприятности.

В первый же месяц работы отправилась на ней проверить, как перезимовали озимые. С полей снег сошел, а в оврагах и лесах его еще много было. Все поля проверила, осталось последнее за речкой. Собственно, можно было туда и не ехать. Поле с этого берега было как на ладони. Но по неопытности своей, по добросовестности, я на каждом поле, как учили, отбивала квадратный метр в нескольких местах и в процентах считала, сколько растений тут погибших, сколько — живых. Глупая работа. Хорошо перезимовавшее поле не за одну версту видно — зеленое. Но это я с годами такая опытная стала, по пустякам время не трачу, а тогда... Не обследовать поле казалось преступлением.

Подъехала к броду. Неширокая речка. Но поляя вода несетя с ревом, пену к берегам прибивает. А берега — две обрывистые кром-

ки льда метровой толщины. Только в месте переезда, где была зимняя дорога, берега чуть положе.

Понукаю Зорьку, а она не хочет идти в воду. Боится. Первый раз в жизни я лошадь ударила. И Зорька пошла. Осторожно пошла, льдистое дно копытом пробует. Идет на ощупь, поскользнуться боится. На самой середине вода сбила ее, и закувыркало течение нас обеих.

Прибило водой к ледяной кромке на повороте. Я ухватилась за свисавшую ветку черемухи, выбралась из воды, а Зорька — никак не может. Бегу за ней по льду, повод из рук не выпускаю. Она закидывается передними ногами, скребет по льду копытами, обрывается, и снова течение несет ее. В одном месте ледяная кромка несколько ниже оказалась. Зорька упорно от этого места, сопротивляясь течению, не хотела уплыть, вставала на дыбы, только что зубами за лед не цеплялась, наконец вползла на берег с моей помощью — изо всех сил я за повод тянула. Стоим на льду, обе мокрые, дрожим от холода и пережитого волнения, зуб на зуб не попадает. Я попробовала разуться, воду из сапог вылить. Не тут-то было. Намокшие носки разбухли. Пришлось лечь на спину, задрать ноги и потрясти ими, чтобы хоть часть воды вылилась.

Садиться в седло я не стала. Простудиться можно, в мокром, без движения. Так и бежали мы рядом все четыре километра до дома: Зорька, чавкая копытами по лесной, истаявшей дороге, и я, в пудовых, хлюпающих сапогах.

Когда прибежали на конюшню, от нас обеих одинаково валил пар. Конюх, низкорослый, с косматой, запущенной бородой, не вынимая трубку изо рта, обругал меня, зачем я лошадь до такой степени загнала, — что она вся мокрая. Я ничего не стала объяснять. Может, за купанье еще больше попадет? Незаметно улизнула с конюшни, а у старухи хозяйки забралась на печь. И никакой простуды! Даже насморка не было.

Всего два раза поставила я Зорьку в конюшню мокрую. Первый раз — сырую от купания, второй — потную от скачки.

В октябре принимала сено у странной организации, принадлежащей соседнему району и заготовливающей сено на территории нашего совхоза исполу, — т. е. половину им, половину нам, без оплаты. Отдавали им дальние урочища, те, что не под руками. Чаще всего трава там попросту пропадала.

«Лесной обоз» — так звали ту организацию — сена заготовил около семидесяти тонн, и все в небольших стогах, так что обмерять пришлось долго и провозилась я до сумерек. В дороге ночь наступила. Хорошо еще, луна светила необыкновенно ярко, каждую былинку видно. Не только саму былинку, но даже и тень от нее.

Зорька ходко шла к дому. Иней посеребрил придорожные кусты. Ледок на лужах под копытами похрустывал. Я прятала ладони под

гриву лошади, чтоб согреться. Богатая грива была у Зорьки! И тепло, как в печурке.

До дома оставалось меньше часу езды, когда у придорожной скирды Зорька вдруг встала, попятилась, потом захрапела и понесла. Такой дикой скачки я и у лучших рысаков после не видела! Только об одном молила бога — не вылететь из седла. Уже не слышно было хруста ледка, только ветер свистел в ушах и пулеметная дробь копыт не столько слышалась, сколько ощущалась толчками. Зорька напрыгалась изо всех сил. Я оглянулась на скаку. От скирды отделился и стлался вслед за нами волк.

Поле кончилось, дорога опустилась в лесистый овраг. По склону вниз Зорька не скакала, а — летела, на одном дыхании взяла подъем, вымахала на полевую дорогу по ту сторону оврага... Эти поля были засеяны озимыми. Всходы, убранные инеем, прошитые лунным светом, исходили голубым сиянием, словно миллиарды звезд текли под ноги лошади. Ощущение жуткого этого полета усиливалось нереальностью картины.

Волк отстал в овраге, а когда появился снова, был уже не один — еще две серые тени стлались над полем.

Зорька несла. Лопнула подпруга, седло грозило свалиться. На невозможном галопе мы влетели в деревню. Свора собак встретила нас визгливым лаем и устремилась в поле.

Луну закрыла туча, сразу сделалось темно. Страшно было вести лошадь в такой темноте на конюшню. Остановилась возле клуба, села на крыльцо, пытаюсь успокоиться. В клубе были танцы, слышалась музыка.

От Зорьки валил пар. Она всхрапывала и дико озиралась, пугая меня.

Двое знакомых парней вышли покурить, и я попросила их отвести лошадь на место.

Зорька много раз выручала меня из, казалось бы, совершенно безвыходных ситуаций. Хорошо помню, как однажды, в поисках площадей под расширяющиеся посевы зерновых, заехали мы с ней в брошенную деревню. Целый день добирались до нее, плутая незнакомыми дорогами. Земли там действительно пропадало порядочно. Пока я ездила полями, начавшими зарастать мелкоколесьем, да прикидывала, как сюда технику перегнать по лесным волокам, забыла, в каком месте из леса на поля выезжала.

Буйная трава в рост человека поглотила все отметины на земле. Мне помнилось, что въезд был около полуразрушенной вышки, но в траве следа от копыт — не найти. Напрасно кружили мы с Зорькой вокруг той вышки, вокруг брошенных, жутких в своей сиротливости домов. Ветер стонал в ветхих строениях, к тому же наступал вечер. Я опустила поводья и расплакалась. Зорька стояла, сочувственно кивая головой, потом побрела тихонько, все убыстряя шаг и, видя,

что я не препятствую, затрусилась рысью, ввезла в лес. В лесу было вовсе сумеречно и жутко, я попыталась ее вернуть на поле, она позволила себе послушаться и упрямо тянула, продираясь между деревьями. Не сразу заметила я, что лес в том месте, где везла Зорька, несколько моложе, чем вокруг. Такая узкая полоска молодых деревьев. В дремучем малиннике под ними даже угадывалась местами старая дорожная колея.

До наступления полной темноты Зорька вывезла меня на какое-то поле. За ним сверкнули первые огоньки. Фантастика какая-то! Зорька прибавила рыси, и через несколько минут мы были дома.

Я с восторгом рассказывала на следующий день всем подряд, какая Зорька умница, как вывезла меня за полчаса из деревни, до которой мы добирались целый день. Старожилы вспомнили, что в деревню ту ездила когда-то давно, 12 лет назад, к своей сестре одна женщина из Ильинского. Ездила на Зорьке. Какую же память нужно иметь, чтоб через столько лет найти однажды пройденную, давно не существующую дорогу!

Спустя несколько месяцев меня перевели на центральную усадьбу совхоза главным агрономом. Я слезно просила, чтоб Зорьку «отпустили» со мной, но бригадир запротестовал. Сказал — там своих лошадей хватает!

Лошадей на новом месте действительно было достаточно, но ни одной подходящей. Я выбрала себе застарелого, шести лет от роду, неукла по кличке Метель. Обучить его мне помогли ребята из Ильинского. Теперь я сама обучаю лошадей и не вижу в этом ничего ни героического, ни экзотического. А умение держаться в седле начиналось с Зорьки. На ней я осваивала азы верховой езды. Попадись мне тогда лошадь с норовом, вероятно, я вообще отказалась бы впредь иметь дело с лошадьми.

Позже много лошадей перебивало в моих руках, но ни одну я не любила так нежно, как Зорьку.

Была и еще одна лошадь, о которой я храню самые добрые воспоминания, но это — другой рассказ.

Прошло пять лет. Я вышла замуж, появился сын. Мужа назначили директором соседнего хозяйства, мы перебрались туда. И снова я оказалась без лошади...

## УЛЫБКА

Топота копыт я не слышала, только глухой звук падения. Обернулась — Улыбка уже вскочила на ноги. Она на всем скаку перевернулась через голову, и я теперь с немим ужасом смотрела на пустое седло. Улыбку полчаса назад уехал проминать мой сын-шестиклассник. Немота прошла, я закрычала.

Трое трактористов, возившихся возле конюшни с экскаватором — бросились к тому месту, где только что кувырком летела лошадь. Я тоже устремилась туда на непослушных, негнущихся ногах...

Трава на месте падения Улыбки оказалась примята, но Мишки там не было. Трактористы припустили было в ту сторону, откуда прискакала Улыбка, я опередила их, побежала одна.

Узкая полоса поля, принявшего на себя постройки центральной усадьбы, изгибалась вокруг деревни полукругом и примыкала к лесу. Я бежала, не чуя ног под собой, по тропе, протоптанной лошадьми в часы проминок, Мишки — не было.

Не скоро на дальнем краю поля, среди желтой, высепающей овсяницы, увидела я оранжевый свитерок сына. Мишка был едва выше травы, трава ему мешала, и он бежал скачками, вытянув вперед руки. Живой! Слава богу, живой!

Подбежал, остановился в нескольких шагах, боясь подойти ближе — взбучка будет, — и опасливо оглядывался назад, выбирая путь к отступлению. На всякий случай.

— Упал? — спросила я грозно.

— Н-нет, — начал заикаться он от испуга.

— Так чего пеш идешь?

— Слез я. Одной рукой ее держу... другой — ягоды ем. Она и вырвалась.

Я рассмеялась беспричинно, сначала негромко, от радости, что Мишка цел и невредим, затем все сильнее. Нервная разрядка искала себе выход. Неудержимый, словно от щекотки, хохот разбирал меня. Я хохотала, размазывая по щекам слезы, не в силах остановиться и вымолвить хоть слово.

Робкое подобие улыбки тронуло и Мишкины губы. Улыбка на его лице ширилась, ширилась, глазенки заблестели, и он сначала неловко, потом смелее — засмеялся, глядя на мое нездоровое веселье.

— Разве удержишь такую лошадь... ха-ха! ... одной рукой!

— Она... — сквозь смех пытался вставить Мишка, — она фыркнула, — фу! — да как рванет!

— Ха-ха-ха!

— А я думал, ты мне всыплешь!

Смеясь, мы возвращались на конюшню. Возле ворот трактористы вдвоем крепко держали пойманную Улыбку, всем своим видом спрашивая, что с нею делать: казнить или помиловать?

Помиловать! Конечно, Улыбка за всю свою жизнь ни разу никого с себя не сбросила. Велика ли заслуга — сбросить ребенка? Она бы никогда себе этого не простила. Про нее говорили — безотказная лошадь. Не грызалась, если ей что-то не нравилось, не лягалась. Безропотно подчинялась всему, чего бы от нее не требовали.

Улыбка была замечательная лошадь. По крайней мере, у нас в совхозе до нее таких лошадей не было. Привезли ее с конного за-

вода в возрасте шести лет. Я тогда работала в должности заместителя директора совхоза, до этого работала агрономом, и в обеих должностях в этом новом для себя совхозе вновь требовала разъездную лошадь. Лошадей не хватало. Впрочем, зимой свободные лошади были. Но на что агроному лошадь зимой? Лошадь нужна, и резвая, в страдную пору: в посевную, в сенокос, в уборочную... Короче, во все времена года, когда земля не покрыта снегом. К сожалению, именно в это время года она нужна и пастуху.

Надо сказать, в сегодняшней деревне добыть дипломированного специалиста куда легче, чем пастуха. Отсюда и преимущество пастуха в выборе лошади. Директор в разгар сева забирает лошадь у агронома и сажает на нее пастуха. Агроном — человек образованный, высокосоциальный, походит и пешком, хотя чувствует себя по нашим непролазным хлябям без лошади, как без рук. Вернее, как без ног. Вот почему я упорно добивалась персональной лошади.

К слову сказать, «пешим ходом» мне приходилось в разгар сева одолевать десятки километров ежедневно, от чего стопы ног превращались в сплошную мозоль. Каждый шаг давался с трудом, словно по острым ножам идешь. Но каждый день, независимо от «износа ходовой части», начинался и кончался полевой дорогой.

Очень долго — несколько лет кряду — директор обещал достать лошадь, а чтоб подсластить столь длительное ожидание, обещал не какую-нибудь, а породистого рысака. Он часто забывал про свое обещание. Я напоминала, требовала, просила, умоляла, и наконец конюх поехал за обещанной лошастью.

Лошадь с машины сгружали прямо у конторы. Кобыла была рослая, вороная, необыкновенно доверчивая, «ручная», как у нас говорят. Она всем позволяла гладить себя, от всех принимала угощенье, без упрямства вышла из кузова...

Характер свой она показала позже. Вьюга, так звали кобылу, по слухам была выбракована прежними хозяевами за дурной характер. Тогда слухам этим я не придавала значения. Просто была безмерно рада «своей» лошади, рысачке орловской породы. Мне все в ней нравилось.

Радость оказалась преждевременной. Усидеть на ней можно было, и резвости кобыла была завидной, но на расстоянии два километра до ближайшей деревни она подкидывала задом до сорока раз, словно ее непрерывно кто-то дергал за невидимую веревочку. Ни о какой комфортной езде не могло быть и речи.

Но Вьюга показала нам дорогу на конный завод, и, когда я отказалась от нее в пользу одного из пастухов, мне привезли с ипподрома жеребца Призера, тоже орловской породы.

Жеребец взял всем: и красотой, и рысь у него была плавная, мягкая, не тряская, и нрава был подходящего. Конюх страшно гордился новым приобретением и каждому встречному объяснял, что Призер

не просто замечательный рысак, он еще и артист: снимался коренником в тройке в фильме... Хвалебные речи лились рекой. Конюх с горячностью рассказывал, что видел Призера «в деле», на бегах. С восторгом говорил. Когда-то работал он на ипподроме маляром. Это не помешало ему загореться страстью к лошадям и стать конюхом, хорошим конюхом, потому что лошадей он любил, в обиду не давал, но, когда кормил Призера пшеницей (пшеницу лошадям дают в весьма ограниченных количествах), от широты души сыпанул больше нормы. Спасти Призера не удалось.

Несколько лет после этого конюх при упоминании о Призере бил себя кулаком в грудь и плакал. Успокоить его смогла только четверка вновь приобретенных рысаков. Конюх сам отправился на их поиски по районам области и вот однажды, сияющий, явился в контору и доложил:

— Привез!

Я поспешила на конюшню делать смотр лошадям.

Была зима. Лошади стояли на снегу, продрогшие после долгой езды в открытой машине и жалкие. Тощи они были, по нашим понятиям.

— Ничего, откормим! — сиял конюх. — Были бы кости, а мясо нарастет!

Крайней стояла кобыла серой масти — Трагедия. Она не поглянулась мне сразу. При ее длинноногой худобе горбоносая голова казалась непомерно крупной. У рысака голова должна быть изящной. Из-за головы я ее и забраковала. Правда, позже Трагедия пришла в норму, приняла соответствующие формы и голова ее словно уменьшилась, по крайней мере, зрительно. Но я и теперь не жалею, что выбрала не ее, а другую.

Рядом с Трагедией стояла маленькая невзрачная гнedenькая кобылка с умными, серьезными глазами. Звали ее Улыбка. Знаете, по выражению глаз лошади можно судить о ее характере. Совсем как у человека. Если лошадь глупа, так это крупными буквами на морде ее написано. Глаза же у Улыбки были ясные, с выражением напряженной сосредоточенности, какие бывают у человека, который силится что-то недоступное понять, уразуметь для себя. Мудрые были глаза.

Маленького росточка Улыбка была по той причине, что происходила от американского производителя. Русская рысистая порода выведена на основе слияния кровей орловского и американского рысака. Поэтапное прилитие крови американских рысаков проводилось с целью улучшения резвости новой породы. От последнего прилития произошла Улыбка. Американские лошадки мелковаты по сравнению с нашими, зачастую и потомство удается некрупным.

Несмотря на малый рост, Улыбка была ладно сложена, остальных лошадей я и смотреть не стала, сразу выбрала ее.

Выбрала я ее не за кличку. Тем более не за масть. Самая рядовая масть, самая примелькавшаяся. И никак не за отца-американца — в ту минуту о происхождении Улыбки я ничего не знала. Это уж потом оказалось, что она голубых кровей. И даже не за умные глаза я ее выбрала. А было в ее облике, в посадке аккуратной головы, в том, как она держалась, что-то горделивое, идущее от уверенности в своем превосходстве, от чувства собственного достоинства, причем не ложного, а оплаченного известным ей содержанием.

Лошадям дали отдохнуть с дороги несколько дней. А после недолгого отдыха я первый раз заседлала Улыбку съездить по недалеким делам.

Лошадь была хорошо выезжена. Улыбка несколько лет назад, и вполне успешно, бежала на ипподроме. Затем ей была отведена роль конематки, а она, принеся одного жеребенка, второй раз вдруг прохолостела, ее и продали.

Был февраль. Дорогу только что расчистили от снега после метели. Улыбка шла такой хорошей рысью, что я сразу в нее безоглядно влюбилась, — не в рысь, а в кобылу. Прежде мне не доводилось ездить на подобных лошадях, и я радовалась своему удачному выбору, если не сказать больше — была счастлива, как ребенок.

Шея лошади быстро повлажнела. Последний год на Улыбке не ездили, и она была, что называется, «не в форме». Я попыталась придержать ее. Это оказалось не так просто. Лошадь азартно просила ходу. В ней угадывался изрядный запас мощности. И все-таки она быстро взмокла и до дому так и не обсохла, хотя возвращались мы шагом.

Нагрузки пришлось увеличивать постепенно. Уже через неделю после первой проминки на ней вполне можно было ездить в умеренно далекие места бригады. Однажды мне нужно было поехать в Шекурино, деревеньку о семи домах, но с фермой.

Доехала я довольно быстро. Привязала лошадь у фермы и пошла по своим делам. Когда вернулась, Улыбка снег под собой копытила с такой яростью, словно что-то очень необходимое раскопать хотела. Уже не снег, а мороженная земля летела из-под копыт и градом сыпалась на дорогу.

Это был ее недостаток. Единственный, к слову сказать. Нигде, кроме своего денника, стоять она не хотела. Неистово рыла землю, покрываясь не просто испариной — пеной от такой яростной, но пустой работы. Позже в чужом месте я пробовала ее ставить в сарай, без привязи. Она и в сарае со всей старательностью делала то же. Однажды в Мальгине я вывела ее из сарая всю в пене и дрожащую, как после неистовой, жестокой скачки. С той поры и в сарае ставить ее стала.

В тот раз, по возвращении из Шекурина, я забежала домой всего на минуту. Но и минуты было достаточно. Она оторвалась и ушла.

Как на грех, в это время возле конюшни гуляли Вьюга с Гордым. Видя в чужой кобыле соперницу, ревнующая Вьюга набросилась на Улыбку. Это было что-то ужасное! Рослая, раскормленная Вьюга — и маленькая, щупленькая, еще слабая и к тому же уставшая с дороги Улыбка. Вьюга тучей налетела, ослепленная яростью оттого, что Гордый все внимание обратил на «прекрасную незнакомку», сбила Улыбку с ног и продолжала бить лежащую, хрипя и содрогаясь от ненависти. Кобылы в ревности люты.

Улыбка не находила в себе сил даже отбиваться. Улучила момент, поднялась и попыталась спастись бегством. Длинноногой Вьюге показалось несложным догнать низкорослую соперницу. И правда, в несколько скачков она настигла Улыбку, попыталась достать зубами... Но не тут-то было! Улыбка прибавила ходу, и посрамленная Вьюга начала отставать.

Улыбка не старалась добиться большого разрыва между собой и преследующими лошадьми, да у нее на это и силенок тогда не хватило бы.

Лошади унеслись за деревню по лесному волоку. Конюх бегом бросил седлать Горизонта и пустился в погоню. Пронесся мимо, как гром и молния. Бывал он крут и горяч временами.

На душе у меня кошки скребли. Лошади могли загнать щуплую Улыбку. И потом — неизвестно, куда они ее погнажи.

Больше всего я боялась, что Улыбка не вернется. До конезавода, откуда мы ее привезли, было несколько сот километров. Неужели она пустится в этот долгий путь? Лошади всегда стремятся на свое прежнее место жительства.

Я шла по следам умчавшихся лошадей, с болью в сердце отмечая места, особенно утопанные — места побоищ. Снег около них был укатан, примят потными телами.

Прошла километра четыре, пока увидела бегущих навстречу лошадей. Конюх на Горизонте скакал далеко сзади. Улыбка неслась первая, поводья уздечки развевались по ветру. Я загородила дорогу, она метнулась в снег, обошла меня целиной и снова выскочила на венок, не сбавляя ходу. Вьюга с Гордым, отставая, неслись галопом. На ипподромных бегах Улыбка тем и брала — резвой, упорной рысью. Другие, куда более рослые лошади сбивались, переходили на галоп, а она с легкостью их обходила, от старта до финиша не сменяв ноги.

Гордого с Вьюгой остановить я не пыталась. Были они без недостатков. За хвост лошадь, как известно, не удержишь.

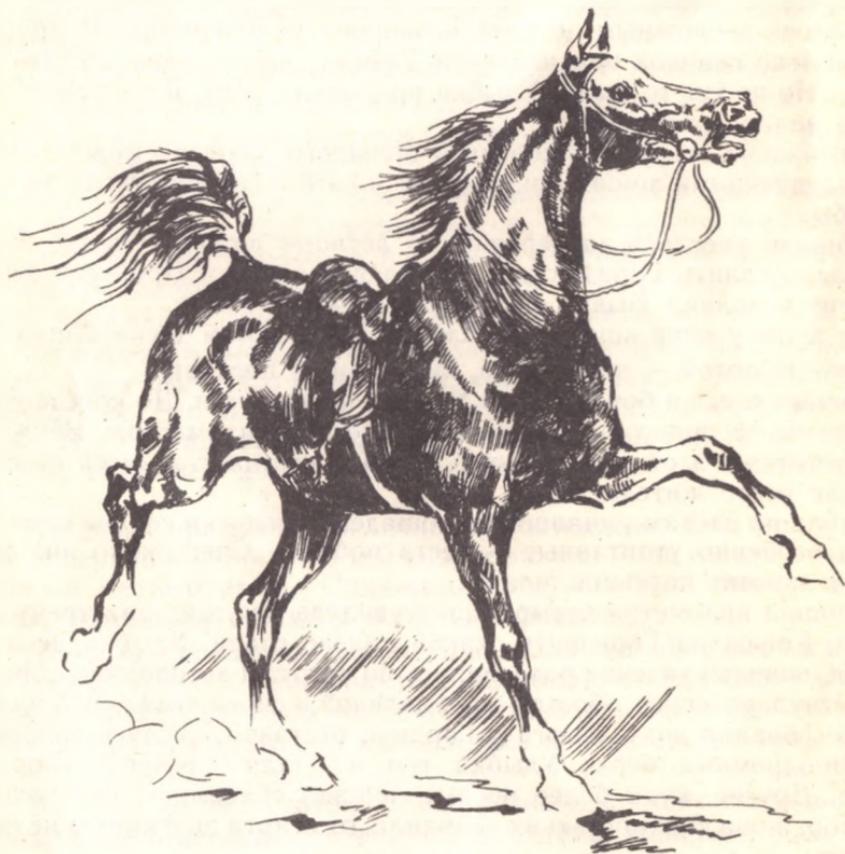
Улыбка была достаточно сильна, чтобы уйти от них, но время от времени ноги ее запутывались в поводьях уздечки, и тогда Вьюга настигала ее, сбивала с ног...

Со временем оказалось, что Улыбка — самая резвая лошадь в совхозе, а поскольку в других хозяйствах рысаков вообще не дер-

жали, то и самой резвой в районе. Мне это ужасно льстило. Но это после. А тогда я не испытывала никакой гордости, вообще ничего, кроме острой жалости и вины перед лошадьёю и конюхом.

Конюх налетел на взмыленном жеребце, как коршун, гортанно выдал сверху изрядную порцию брани и добавил:

— В делянку пошли было, да я отсек. Вцело, по снегу, наперерез гнал. Жеребца измучил. Гордый с Вьюгой домой сами вернутся, а ты свою — где хочешь бери. Сама упустила, сама и ищи. А я — жеребца ставлю!



Он и верно прекратил погоню; поставил измученного Горизонта на конюшню и, ругаясь на всю деревню, да так, что, верно, и в соседнем районе было слышать, какая я разиня и что лошадей мне доверять нельзя, — пошел домой. По пути он размахивал руками и в сердцах срывал с потной головы шапку. От лысины и от шапки валил такой густой пар, словно Горизонт катался на конюхе, а не на-

оборот. Шапкой он и указал мне в поле, где без дороги, по брюхо в снегу, брели к лесу три лошади: серая, вороная и гнеденьякая:

— Лови ветер в поле!

И я пошла.

Зима была многоснежная. Уже через несколько минут ходьбы по целине я измучилась. В валенки набилось снегу. Рукавицы, намокшие, с комьями прилипшего снега, казались невероятным грузом, но без них снег обжигал пальцы.

Лошади развернулись и направились было к деревне, но увидели меня, постояли в задумчивости, пожевали снежку и... пошли в лес. Напрасно я со слезой в голосе окликала их, звала по имени: ни слышать, ни знать они ничего не хотели. Ветер нес полем мою мольбу, вплетая в космы начинающейся метели.

Мне ничего не оставалось, как идти дальше по следам лошадей.

Лесом пробираться было еще хуже. Ноги застревали в буреломе, будто кто-то невидимый хватал из-под снега за валенки.

Я упорно продиралась вперед, всхлипывая от досады и усталости. Без лошадей домой вернуться никак нельзя. А впереди была ночь, и страх ее, и мороз, и промерзшие рукавицы, в которых не согреть рук. Вернуться назад теперь тоже не было никакой возможности, потому что я просто выбилась из сил.

И все-таки я продолжала карабкаться, оставляя после себя настоящий снежный тоннель. К счастью, лес впереди неожиданно расступился, и следы лошадей вывели на дорогу — дорогу в Шекурино. Другой дороги Улыбка не знала и увела лошадей туда, хорошо ориентируясь в незнакомом месте — иначе как же она нашла бы в лесу эту дорогу?

Я уселась на снежную бровку — утереть пот и отдышаться. За поворотом послышался неторопливый, мерный топот и за стволами сосен показались Гордый с Вьюгой. Они без особой спешки возвращались к ночи домой. Улыбка трусила далеко сзади.

Я встала посреди дороги. Улыбка подошла и остановилась, запаленно хлопая боками. На ней не было ни одной сухой шерстинки. Даже уши были мокрые. Пена сбегала с основания шеи по груди тонкими ручейками.

Она позволила взять повод и послушно пошла рядом, даже как будто обрадовалась встрече. Из жалости я не стала на нее садиться — и без того лошадь измучена.

Домой вернулась без сил, не suche Улыбки, но — счастливая: Улыбка стояла в своем деннике!

Позже Улыбка много раз заставляла меня ходить пешком. Отрывалась, снимала с себя через голову уздечку и недоуздок, отвязывалась и самой резвой рысью, на какую способна, резвее, наверное, чем на призах, неслась домой. Прибежав, от досады кусала закрытую дверь конюшни, била ее передней ногой и, если ей удавалось

дверь открыть — а со временем она преуспела в этом, — с торжествующим ржанием, с высоко вздернутой точеной головой и с красиво откинутым хвостом, горделивой танцующей поступью направлялась в свой денник.

Я прощала ей этот грех. Приходила пешком, расседывала, если конюх уже не сделал этого, поила, а назавтра выводила снова, брала с собой какой-нибудь хитрый третий повод, чтоб уж на этот раз лошадь не сумела уйти. А она опять отрывалась и уходила. Не всякий раз, но довольно часто. И какой бес с такой неумолимой силой влек ее домой?

Ни одно другое животное не хранит такую преданность дому, как лошадь. Корова может уйти и заблудиться, равно как и другое животное, но лошадь от конюшни не уходит. Лошади трудно расстаются со старым местом жительства и с еще большим трудом привыкают к новому. Даже перемена денника — лишняя нервозность.

Улыбка со всякого большого и малого расстояния не просто стремилась вернуться домой, она добивалась этой возможности, ничего ради этой цели не жалея.

И все-таки это была замечательная лошадь. На конюшне к тому времени было два десятка лошадей, но лучше ее лошади не было. Вьюга все так же кидала задом, Трагедия на резвом ходу засекала ногу, Мазурка везла мелкой, тряской рысью, Гордый после хорошей езды «жаловался» на ноги, Горизонт, при его необузданном нраве и пылком темпераменте, мог ни с того ни с сего в чистом поле сделать свечку или поиграть, пытаясь сбросить седока; Чайка вертелась, как юла, пока на нее садились, Zenit со своей узкой грудью вообще был слабоват... Рысаков было уже порядочно, но все они в подметки, вернее, в подковы, не годились Улыбке. Грех винить меня в необъективности — это не только мое мнение. Улыбка была ценной лошадью не только потому, что стояла больше гусеничного трактора — Улыбка свою стоимость заслуживала.

Я любила ее, любила, как человека. Характеры наши словно созданы были один для другого. Лошадям в большей степени, чем другим животным (а возможно, вообще одним лошадям), свойственно иметь сложные характеры, подразделяющиеся на четыре типа, как и у человека: сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик. И это тоже приближает лошадь к человеку. Приближает особенно тогда, когда удачно складывается пара — человек и лошадь, — дополняющая друг друга именно в смысле характера. Все выдающиеся лошади были в свое время поняты, расшифрованы человеком и в сочетании с характером наездника, жокея, в дополнении один другого, стали не просто лошадьми, а лошадьми с большой буквы, о которых не грех сказать — ее величество Лошадь.

Улыбка была сангвиником по натуре, я — ближе к холерикам. Разность эта не мешала нам, а, напротив, уравнивала. Я горяча

и нетерпелива, Улыбка — резва. Я властна и самолюбива — Улыбка была необыкновенно послушна.

К лету Улыбка вылиняла, набрала округлые формы, стала сияющей, красно-гнедой, в темных яблочках, с некрупной головой, широкой грудью и крепкой шеей.

Больше всего мне нравилось то, что была Улыбка чрезвычайно отзывчива, старательна. За годы работы с нею у меня ни разу не появилось повода оскорбить ее ударом хлыста или поторопить. Напротив, ее постоянно приходилось сдерживать, осаживать.

Улыбка вызывала не только человеческое уважение, но и лошадиное — стала признанным лидером табуна. Даже Звездочка, вечная задира, уступала первенство, поджав хвост. Мимоза и Мазурка вовсе побаивались строгой соседки, но неотступно таскались за ней всюду: обожали.

Улыбка была молодая лошадь, но чувствовала себя царицей в табуне и лучшее место у кормушки — по-доброму — уступала только Ракете, которой перевалило за тридцать. Лошади уважают старость.

В глубокой жеребости Улыбка стала осторожна и подозрительна, берегла свое будущее дитя и добровольно делила «власть» с Машкой. Машка собирала вокруг себя своих почитателей, Улыбка — своих. Табун делился на две группы. Машка предводительствовала у рабочих, простых лошадей, Улыбка — возглавляла лошадиную аристократию, племенных рысачек. Когда табун менял свою «дислокацию», Улыбка цеслась впереди, раздувая ноздри и легко преодолевая расстояние. Следом в едином полете стремились вороные, гнедые и серые, картина эта волновала и радовала, а ушедшая далеко вперед от табуна Улыбка красовалась, вызывая восхищение. Никогда я не любила ее так, как в эти минуты.

От любви к своей Улыбке я и на конюшню работать пошла. Наверное, со стороны это выглядело проявлением ребячества, детской глупостью. Иные так и спрашивали: «Ты что, с ума сошла?»

А случилось это неожиданно даже для меня самой. Конюх ушел на пенсию. Лошадям грозила участь остаться без присмотра. Или под таким присмотром, когда день кормят, два — нет. Ставить конюхом было некого.

Грамотных, опытных лошадиников теперь мало, используют лошадь неумело, без знания правил, зачастую в ущерб здоровью лошади, а иногда — и совершенно не подозревая об этом — с опасностью для самой ее жизни. Лошадь — она только работает, как лошадь, а в отношении здоровья хлипка, как ребенок.

Я опасалась за Улыбку и ревновала ее к другим седокам. Не испортили бы мою любимицу! Почти никому не давала ее, разве что сыну, когда подрос, разрешала проминать в нерабочие дни. К великой радости сына, я тогда и сделала карьеру наоборот — из замес-

тителей директора совхоза перешла в конюхи. Мальчишки все мечтают о лошадях, о свободном доступе к ним, а тут — целая конюшня раскроет двери. Как не радоваться!

С первых же дней работы на конюшне в странном я оказалась положении. В качестве конюха я была при Улыбке, чего и желала, (и еще при семнадцати лошадях), но без права распоряжаться ею и другими лошадьми. У Улыбки теперь были свои начальники, имевшие на нее прав по своему положению больше, чем конюх. На моей стороне были только обязанности. А права распространялись лишь разве что на Машку, обслуживающую конюшню, — этакую конюшennую Золушку.

Мое место заместителя директора занял выпускник института, армянин по национальности, Альберт Ашотович. Когда-то в детстве он «катался» на лошади. «Катался» — в кружке верховой езды, которым я тогда руководила, даже начинающими произносилось с презрительным оттенком. Кататься — значит понятия не иметь о серьезной езде. О правильной езде. При неправильной — можно испортить лошадь.

Несмотря на неумение, у Альберта Ашотовича была страсть к верховой езде и к разговорам о лошади, чем и сама я грешу. Он сказал:

— Я жестко езжу.

У нас не было такого термина, и я не поняла его. Тогда он пояснил чисто по-русски:

— Я гоняю.

Это было куда понятнее. И я дала ему Гордого. Гордый в поводу танцевал и силу в себе чувствовал жеребцовскую. Альберт Ашотович посмотрел на него с опаской, извиняющимся тоном попросил промять. Проскакала вокруг деревни, подвела. Сел, неумело взял поводья в руки. Еще не тронулся с места, а уже было ясно, почему он «гоняет». Ехать рысью труднее, нужно умение, на галопе сидеть в седле легче.

После первой же поездки в Мальгино жеребец под новым начальником оказался обтерт и не вставал два дня на ноги. Мы с сыном накануне так азартно, в два голоса расхваливали новенькому Улыбку, что он не нашел ничего лучшего, как взять ее на следующий день в наше отсутствие. Я заметила пропажу и ужаснулась.

Как и следовало ожидать, Улыбка оторвалась, оставила седока добираться своими средствами, принеслась домой вся мокрая и грязная: была распутица.

Я «спустила собаку» на вернувшегося Альберта Ашотовича. Конечно, я не имела такого права, но тут забыла все условности и вид мой, верно, был ничуть не менее грозен, чем у бывшего конюха Рейзнека, который некогда поносил меня на чем свет стоит за упущенную лошадь.

Отчехвостила начальника и пошла, держась за сердце, кормить сахаром свою несравненную Улыбку. Последнее время и в этой маленькой радости мне стали отказывать. И кто? — родной сын!

Мишка перешел в седьмой класс, решил про себя, что уже достаточно опытный наездник, и теперь наезжал Улыбку, ухаживал за ней, кормил лакомствами. Регулярно щеткой драил, гриву расчесывал и хвост, копыта расчищал, все четыре каждый день. Улыбка ногу давала, как обученная собака, стоило сказать:

— Ногу!

За Мишкину заботу Улыбка платила искренней привязанностью. Мишка даже поделился однажды:

— Мама, она меня, наверно, за своего жеребенка принимает, жалеет.

Мы с ним мечтали: ожеребится Улыбка, купим себе ее жеребенка. Как мы холили Улыбку, как оберегали, пока была жереба! Сколько разговоров было, как сладко мечталось!.. Какое имя придумали!

Неотлучно дежурили мы у денника, когда стало заметно, что Улыбка готовится к выжеребке. А у нее оказалось неправильное положение плода.

На родах Улыбка мучилась долго. Мишка вертелся вокруг конюшни, пытаясь заглянуть внутрь, но я не впускала его, чтоб, как теперь принято говорить, «не травмировать душу ребенка». Было ясно, что благополучно дело не кончится. Так и вышло. Ветеринар сделал все, что мог, но она так и не встала. От сильных и продолжительных потуг получился разрыв печени с внутренним кровоизлиянием. Улыбка была сильной лошадкой. Сила ее и погубила.

Умерла Улыбка у меня на глазах, точнее было бы сказать — на руках. Я обнимала ее голову, мучаясь ее страданиями. Это была страшная смерть!

...Не верилось, глядя на неподвижную лошадь, что эта вчера еще горячая плоть, одухотворенное сплетение мышц и нервов, с горделивым, ровного накала огнем во взгляде — и вдруг остывшая, потухшая, неживая. Это было так несправедливо!

Мишка обливался слезами, порывался ворваться в конюшню и твердил между всхлипываниями:

— Может, у нее шок? Может, очнется?

Впустили его на конюшню только утром следующего дня. С лошади уже сняли шкуру. Так уж заведено, снимать с убиенных и павших. Мишка гладил то, что осталось от Улыбки, трогал ее копыта, на которых каждую щербинку знал наизусть, и слезы обильно поливали крутое сплетение мышц, обнаженных, как на уроке анатомии.

Улыбку мы хоронили, как и положено хоронить замечательных лошадей — голову и сердце. Большое сердце.

## У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ

Человек интуитивно боится незнакомой лошади. Лошадь боится незнакомого человека. Взаимный страх стеной встает между ними и мешает понять друг друга. У Н. Рубцова есть стихи:

Мы были разных два лица,  
Но неспособных к разговору...

К разговору способны разных два лица — конюх и лошадь. Они понимают друг друга. Однако диалог этот наполняется смыслом не сразу, а лишь при длительном общении человека с лошадей, приходит с опытом работы.

Первое время, сделавшись конюхом, я не работала, а маялась. Боялась вывести лошадь из денника даже на время уборки в ее «квартире», поэтому выгребала «яблоки», накрошенные кобылой за ночь, в ее присутствии. При этом мы обе дрожали от страха: лошадь в одном углу, я — в другом. Я приговаривала дрожащим от страха голосом:

— Стой, милая... Стой, хорошая. Я сейчас, — и воровскими движениями выхватывала из-под лошади навоз. Лошадь боялась резких движений и только что на стенку от меня не кидалась. Когда процедура отбивки (чистки) денника заканчивалась, мы обе с облегчением вздыхали: и лошадь, и я. Я вытирала пот со лба и шла к следующей лошади. Дело продвигалось медленно. На наведение порядка таким образом уходил весь день, домой я приходила измученная донельзя.

Но так продолжалось недолго. Лошади скоро поняли, что вреда я им не причиню, перестали дичиться, привыкли и стали тянуться ко мне дружелюбно. Началась особая пора — пора дружбы с лошадьми. Лошади теперь всякий мой приход приветствовали ржанием. Каждая «здоровалась» отдельно.

У всех других домашних животных чувства к человеку примитивнее, проще, чем у лошади. Коровы и телята ором орут, встречая хозяйку, — требуют еды. Лошадь еды не просит, даже если очень голодна. Корова на ее месте оглушила бы. Лошадь же не унижит себя выпрашиванием и, только когда увидит, что конюх уходит, заржет обеспокоенно, с горькой обидой: дескать, меня накормить забыл!

Только лошадь и собака способны радоваться человеку просто так, бесплатно, не за подачку. И преданность свою лошадь хранит за одно лишь доброе отношение, даже если ты ни разу ее ничем не угостил, а кормит вовсе другой человек. И наоборот: пусть ты кормишь ее каждый день, но обижаешь, она не будет хранить слепую преданность, как собака. Лошадь — это лошадь, существо гордое, неподкупное.

Лошади скоро поняли, что я люблю их, и стали платить взаим-

ностью. Даже с Вьюгой, хранившей особую преданность прежнему конюху, мы «договорились» относиться друг к другу терпимо, с обоюдным уважением, и честно не нарушали этого молчаливого уговора.

Вьюга любила старого конюха и долго еще делала вид, что не замечает моих стараний войти в доверие. Вообще лошади и собаки — существа ревнивые. Однажды при своей овчарке я попыталась приласкать чужого пса, но едва дотронулась, как мой преданный Казбек ударил чужака грудью так, что тот несколько метров с визгом летел прочь. И так случалось всякий раз, стоило протянуть руку к чужой собаке.

Лошади ревнивы ничуть не менее. Ревнивы и обидчивы. Они не хотят делить расположение человека ни с кем. И не любят, когда на них, лошадей, садится незнакомый человек. У каждой лошади есть или, по крайней мере, должен быть «свой человек». Конюх — вне правил. Конюха любят все лошади, но конюх — он для всех, а это — совсем другое дело.

Конюшню я приняла в конце зимы, а уже весной лошади ходили за мной, отталкивая друг друга в сторону. Только Вьюга не делала таких попыток. Вьюга не признавала никаких фамильярностей. Общение наше проходило в пределах лошадиной благовоспитанности, но без панибратства. Попытаешься приласкать — уши прижмет. Предупреждает: не трогай, а то...

И все шло как будто бы хорошо, но... Ланолин!

Ланолин достался мне четырехлетним могучим представителем владимирской породы тяжеловозов. Он не был обучен, не признавал ни привязи, ни узды, ни повода. Подходить к нему было опасно. Он одинаково бил и передними и задними копытами. Копыта его, размером со столовую тарелку, не знавшие щипцов, одним своим видом приводили в ужас. От рождения не стриженная грива висела дикими космами едва не до полу, челка скрывала «лицо».

Ланолин был чрезвычайно недоверчив. Это было странно — лошади тяжеловозных пород преимущественно спокойного нрава. По причине своей недоверчивости — он в каждом видел желающего причинить неприятность — Ланолин всегда торопился предупредить, опередить эту неприятность, хотя едва ли мог знать бытующую среди людей поговорку: лучшая защита — нападение. Был он типичным образцом запущенной лошади и выглядел чудовищем, а не неуком.

Первое время, чтобы вычистить в деннике у Ланолина, я нанимала за бутылку водки какую-нибудь отчаянную голову, которая свою голову ценила дешевле рюмки «горлодера», и его выводили. Тем временем я наводила порядок в его номере. Как в гостинице. В отсутствие клиента.

Наводить порядок таким образом каждый день было попросту не по карману, водка все дорожала, дорожал и Ланолин, и выводить

приходилось только раз в неделю. Иначе у меня просто вся зарплата уходила бы на это. Ланолин за неделю застаивался без движения и буйствовал, требуя свободы — лягал стены так, что вся конюшня, словно картонная коробка, дрожала от его могучих ударов.

Никто не знал, что делать с Ланолином, даже зоотехник. Приобрели его жеребенком с благой целью, которая, конечно же, стоила средств: улучшать потомство местных рабочих лошадей. Когда он «отбился от рук», надумали сдать его в счет плана по мясозаготовкам, но не могли погрузить в машину. Этот богатырь любую привязь рвал, как паутину, не признавал никаких чумбуров или поводов, не желал следовать за человеком, день ото дня свирепея все больше. Тогда решили избавиться от него иным путем — продать на племенные цели соседям, благо был он исключительно породен.

Покупателя нашли быстро, но «купцы» приехали и уехали ни с чем — Ланолин не пожелал выйти к ним из денника. Он сверкал дикими глазами сквозь космы, одним своим видом страх наводя, и подступиться к нему смельчака не нашлось.

Так и жил Ланолин, замурованный в тесных стенах. За буйный нрав и косматость школьники прозвали его Бармалеем.

— Бармалейчик! Сахару хочешь? — спрашивали они. Ланолин просовывал голову над кормушкой и выглядывал в проход. Сахар Ланолин любил. Он подбирал его из кормушки и долго с наслаждением сосал, сначала кусочек сахару, потом свою губу, забрав ее в рот, сладострастно чмокая на всю конюшню.

Подошла весна, настало время делаться Ланолину женихом. Был это первый сезон жениховства для него. Теперь выводить его следовало каждый день. Пойти на такое разорение я не могла и нашла другой выход: перегородила проход так, что стоило открыть дверь денника Ланолина, как он оказывался носом к выходу в боковые ворота. И как я раньше до такой простой хитрости не додумалась?

Теперь каждый день я перегораживала проход и открывала дверь. Косматый Ланолин вылетал, словно из пушки заряженный, и принимался бесноваться в леваде. Что он творил! Это было все равно что выпустить джинна из бутылки. Мы ждали, когда Ланолин перебежится, затем подсовывали ему трясущуюся от страха кобылу.

Не так-то просто было потом отнять у него подругу, и мы изошрялись в разных выдумках. Выводили, например, другую лошадь и привязывали ее по ту сторону изгороди. Ланолин на несколько секунд переключал свое внимание на новенькую, а его симпатию тем временем уводили. Ланолин тотчас замечал пропажу и приходил в неистовство: с отчаянными воплями носился по леваде. Комья земли из-под его огромных копыт градом сыпались на крышу конюшни или дробно ударяли в стену.

Не скоро Ланолин уставал от такой бессмысленной скачки

и смирялся с положением холостяка. Тогда открывали ворота, и он одним скачком влетал «домой».

Так продолжалось два года.

Мы уже и мечтать перестали обучить Ланолина. Прочих лошадей мы обучали сами, чаще совсем молодых, в полуторагодовом возрасте. На такой «юной» лошади работать еще нельзя, поэтому до возмужания на ней больше года подростки «катаются» верхом. К трехлетнему возрасту, когда лошадь — рабочую — можно обучать работе в упряжи, она уже многое умеет и хорошо слушается повода.



Обучать лошадей, как ни парадоксально это покажется, научил меня сын. И было ему в ту пору одиннадцать лет. Как сумел? Да очень просто!

Он все время лез к необученным лошадям, норовя на них прокатиться. Мое сердце разрывалось от страха, когда он летел кувырком в снег. Я настрого запрещала ему подходить к необученным лошадям, но, стоило отвернуться, он опять упрямо прыгал на неука со всякого возвышенного места, хотя до морды лошади с земли едва мог дотянуться. Все это могло плохо кончиться. Мне ничего не оставалось, как обучать этих лошадей, пока он был в школе на уроках.

Первые дни ездила на молодых лошадях сама, потом старшеклассники доводили дело до конца.

Обломать лошадь оказалось не так уж трудно.

Вообще выражение «обломать», так распространенное в деревнях, никак не соответствует действительности. Обучать лошадь начинают шагом. И далеко не всякая лошадь «дурит». Это не озна-

чает, однако, что дело обучения лошади лишено всякого рода риска и совершенно безопасно. Опасное дело. И я ни за какие блага на своем четвертом десятке не села бы на необученную лошадь, но... Только мать знает, на какие подвиги она способна ради своего ребенка!

И все-таки обучить лошадь оказалось гораздо проще, чем я себе прежде представляла. Но Ланолин!.. Нет, Ланолин был мне не по силам!

Время шло, а Ланолин даром ел корм. Мне, в свою бытность успевшей поработать экономистом в совхозе, привыкшей во всем искать окупаемость затрат, мукой мученической было видеть Бармалея пожирающим корм, который ничем не окупался. И я рискнула.

Обучать лошадь начинают с того, что некоторое время, до легкого утомления, гоняют на корде, затем садятся верхом, первое время без седла. Погонять Ланолина на корде не было никакой возможности — это чудовище просто не признавало корды. Мы сделали иначе. Ездили на кобыле вдоль левады с наружной ее стороны, а Ланолин носился за ней вдоль забора, как сумасшедший, пока не уставал. Тогда кобылу убирали.

— Чур я обучаю! Я обучаю! — кричал Мишка и подпрыгивал от нетерпения. К тому времени в вопросах работы с лошадьми он уже считал себя асом. Я вела факультативные занятия со школьниками по коневодству, мы довольно подробно с ними изучали конное дело и конный спорт, но, поскольку экзамены и зачеты ребятам не угрожали по этим вопросам, большинство лекций они со спокойной совестью пропускали мимо ушей. Мишка был — совсем другое дело. Все, что касалось коневодства, он знал назубок и без занятий, потому что пользовались мы с ним одной и той же литературой. Теория в соединении с практикой кое-что ему давала, плюс неизбывный интерес и необузданный энтузиазм... Когда у него спрашивали, кем он намерен стать по окончании школы, ничуть не колеблясь, он заявлял:

— Конюхом!

Отец морщился от таких заявлений и отмахивался — до окончания школы не раз передумает. А Мишка кипятился: «Не передумаю!»

Но Мишке я не могла позволить сесть на Ланолина. Взгромодилась сама. Ног не хватало обратить его могучую спину. Как ни странно, Ланолин стоял спокойно, не двигаясь, точно каменный. Верно, его озадачило новое положение — держать на своей спине человека. Раньше всегда было наоборот: он стоял над человеком, норовил его придавить, подмять. А тут человек — на нем. Еще бы не удивиться!

Думал Ланолин долго. Однако было видно, что страха он не испытывает. Мы оба почему-то не боялись друг друга. Доверие — великое дело! Но Ланолин стоял и ни с места.

— Дай я! Дай я! — нетерпеливо кричал Мишка, и пришлось уступить ему уютную, широкую, мягкую спину тяжеловоза.

Подчинился Ланолин только тогда, когда принесли хлыстик. Стоило подстегнуть — Ланолин бежал вперед, не признавая никаких поворотов влево-вправо. Когда пытались своротить в сторону, он бестолково тарашил круглые глаза и неистово грыз ненавистные удила. Ланолин не понимал их назначения. Удила ему мешали, он тряс лохматой головой и снова вставал неколебимо, пока не приводили в действие шенкеля и хлыст. Пробежавшись, он снова вставал, Мишка нетерпеливо ерзал по нему взад-вперед.

— Ну и громадина! Ну и ширина!

На следующий день Ланолин, всегда пулей вылетающий из ворот, отказался выйти в леваду. Высунул морду, постоял в раздумье и вернулся назад: нашли, мол, дурака!

Мы с Мишкой в два голоса принялись уговаривать его:

— Ланолин, выходи, голубчик!

— Выходи, не задерживай. Зимний день короток.

Ланолин только тряс гривой.

Тогда Мишка топнул ногой и закричал:

— Леопольд, подлый трус, выходи!

Ланолин посмотрел изумленно — мы и впрямь выглядели мышатами из мультфильма рядом с ним — и вышел! Однако направился он не к выходу, а к Гордому, отгороженному тоненькой моей перегородочкой. Дело пахло дракой. Оттащить не понимающего повода Ланолина было бы невозможно. Я налетела на него с веником, как разъяренный воробей. От неожиданности он забыл про Гордого и попятился, вернулся в денник.

Мишка возмутился:

— Разве так обучишь? Все время будет делать, что хочет! Выводить надо! Конюх лошадю должен руководить, а не наоборот. Хвост собакой вертит!

Легко сказать — выводить! Мишка вообще любил покрикивать и командовать, будто был по меньшей мере профессором коневодства или полководцем в конной армии. Я высказала ему свои соображения по этому поводу. Он обиделся, ушел к калориферу, где сушились седла, и сел ко мне спиной, демонстрируя, как глубоко оскорблен. И я пошла к Ланолину. Повисла у него на морде и потащила его за собой на улицу. Не в боковую дверь, а по проходу, где ходят все нормальные лошади. Лошади шарахались от него и выглядели из углов со страхом.

Не веря в свою победу над жеребцом, я пустила его на волю — побегать, одновременно оглядываясь в поисках пути к отступлению. Мишка стоял в дверях и наблюдал за моим подвигом со снисходительной улыбкой.

Ланолин носился вокруг конюшни, подкидывая задом так, что

ноги оказывались выше уровня головы, потом прыгал боком, радуясь свободе, делал жуткие свечки, норовя опрокинуться на спину. При его весе встать на дыбы вовсе не просто. Но ему доставляло какое-то особое удовольствие утопить в сугробе хвост и стоять на одних задних, молотя воздух передними копытами.

Потом он усвоил, что по дороге бегать легче, чем по снежной целине, и помчался прочь от конюшни. По дороге натужно шли машины, до отказа груженные торфом. Ланолин испугался МАЗа и припустил впереди него, боясь или не успевая свернуть с дороги, через полутораметровую снежную бровку. Несколько мгновений было видно, как он неуклюже галопировал впереди машины, потом пропал за лесным поворотом.

Торф возили в Степыгино, что в шести километрах от конюшни. Машины сновали почти непрерывно и могли загнать бедного Ланолина, непривычного к таким расстояниям. Наверняка, добывав до Степыгина, он будет стремиться домой, а встречные машины станут отгонять его назад, в поле, пока не изведут бесконечной гонкой туда-сюда. И я припустила за Ланолином, спасти его от машин. День был на исходе, машины, как нарочно, в ту сторону перестали идти, и треть пути до Степыгина я прошла пешком, когда неожиданно навстречу мне из-за поворота неуклюжим, тяжелым галопом выбежал Ланолин.

— Ланолин! — обрадовалась я, — Они же тебя загнать могли!

Взмыленный Ланолин подбежал и остановился. От него поднималось и плыло к лесу облако пара.

— Пошли домой.

Ланолин согласно покивал головой и зашагал рядом, как привязанный, без всякого повода. Смирненно топал, нога в ногу, исходя паром.

Пожалуй, встречная машина могла вспугнуть его и угнать снова в Степыгино. Я продела припасенный чумбур в кольцо недоуздка и повела эту громадину. Ланолин, никогда не ходивший в поводу, степенно вышагивал, будто его всю жизнь так водили.

Встретилась машина. Я подала знак шоферу остановиться. Водитель заглушил мотор. Провела Ланолина мимо, но все-таки он испугался и вырвался. Проскакал несколько метров, встал, словно устыдился чего-то, вернулся, подождал, пока возьму чумбур в руки, и снова степенно зашагал, будто только об этом всегда и мечтал — ходить за мною в поводу. Я прямо-таки в умиление пришла.

Около конюшни Мишка сразу же взобрался на Ланолина — надо было поездить на нем шагом, пока не обсохнет. Ланолин отлично слушался повода, поворачивал по требованию налево и направо, останавливался, трогался, шел рысью и шагом, не проявляя при этом абсолютно никаких признаков непослушания.

Бармалеем его с тех пор звать перестали. Гриву и челку Лано-

лину подравняли, укоротили, причесали. Открылась без челки белая широкая протока от звезды во лбу до ноздрей. Белизна осветила «лицо» Ланолина, мрачноватый вид его сменился на дружелюбный и простоватый. Ланолин перестал быть страшилищем. Он лоснился темно-пепельными боками, подставлял шею, когда его чистили или гладили, и добродушно трогал губами всякого подошедшего человека. И мы поняли, что считали Ланолина дураковатым зря. У страха, как известно, глаза велики.

## ВОРОНОК

Накануне праздника проводов русской зимы, что проводился в райцентре, старожил нашей деревни Корепин Иван Никифорович подарил нам два поддужных колокольца замечательно чистого звучания. Принесла их на конюшню внучка Ивана Никифоровича — Люба. Тогда и пришло к нам скороспелое решение озвучить тройку имеющимися средствами. Кроме дареных колокольцев были наборные арканы с бубенцами разного размера. Один аркан пел нежным голосом, два другие не пели, а бряцали глухо — за это бубенцы и назывались глухарями. Был еще аркан с бубенцами-шаркунами.

Русская тройка в своем традиционном старинном исполнении радовала не только взор, но и слух. Каждая тройка «пела» по-своему, не зря тройки называли «ямскими гармониями». Музыкально одаренные мастера могли подбирать бубенцы и колокольцы мажорного и минорного звучания.

Авторы книги «Шорное производство», изданной в 1928 году, Г. Петров и В. Бебешин, писали: «Русская ямская троечная сбруя считается самой красивой среди остальных видов упряжи. В ней воплотилось накопленное веками искусство русских шорников. На украшении ее московские шорные мастера сосредоточили всю любовь к своему ремеслу и отдали ей свои художественные дарования. В этой упряжи отражена целая эпоха, когда не было железных дорог...»

Всего в экипировке тройки насчитывалось до сотни больших и малых колокольцов, бубенцов и бубенчиков, и названия у них были разные: поддужные колокольцы, арканские бубенцы, гречушные колокольчики на хомуте и уздечке. Гречушные колокольчики, или маленькие бубенчики, укреплялись внутри кистей, свисавших с уздечки, седелки и шлеи. Кисти были особым украшением сбруи, и насчитывалось таких кистей до четырех десятков в одном комплекте троечной упряжи. Маленькие бубенцы окаймляли края седелки. Впоследствии стали применяться седелочные колокольчики с «малиновым звоном». Седелочные колокольчики прикрепляли к седелке

коренника, но иногда крепили и к трокам пристяжных. У скачущей галопом пристяжной лошади звон получался более выразительным.

Русская тройка, как удивительный, ни с чем не сравнимый музыкальный инструмент, ушла в прошлое. Мне много раз на ипподромах приходилось наблюдать соревнования троек, но ни разу не видела я должным образом озвученную тройку. Тем более соблазнительно было создать ее. Готовясь к проходам русской зимы, мы со школьниками мечтали изготовить троечную упряжь во всей ее музыкальной неповторимости. Было это необычайно трудно. Кое-что из музыкальных элементов старинной троечной упряжи мы сумели собрать у старожилов местных деревень, но все это были предметы разрозненные, не всегда сочетающиеся между собой. Всего необходимого мы, конечно, собрать не сумели — не сохранилось даже в самых глухих деревнях, ведь ямские тройки ушли в прошлое целое столетие назад. Удивительно, что и эти остатки упряжи люди хранили столь долго. Хранили, как произведения искусства, практически не применимое в наши дни, но радующее душу.

Звучащие инструменты, собранные и отреставрированные, мы приготовили только накануне праздника и надели арканы и прочие колокольцы-бубенцы на лошадей на ночь, чтоб привыкли до утра к звону. Кажется, они привыкли. По крайней мере, когда утром мы выводили их на запряжку, лошади шли без страха и не шарахались одна от другой, хотя звучала каждая непривычно и по-своему. Лошади и во время запряжки не реагировали на звон. Правда, при движении шагом звон не особенно сильный. Воронок и вовсе был непривычно терпелив и снисходителен, пока пристегивали пристяжных. Леша Васильев стоял сбоку на безопасном расстоянии, придерживая Трагедию, Гордого держал Сергей Разгуляев, на случай, если лошади неожиданно понесут. Это были первые наши троечники из школьников. Троечники, разумеется, не потому, что учились на тройки (хотя и без этого не обходилось), а потому что умели заложить тройку и править ею.

Я села в сани, разобрала вожжи и скомандовала ребятам:  
— Садись!

Лошади рванули сразу. Сергей успел на ходу плашмя броситься в санки, Леша во всю прыть бежал сзади. Но разве можно угнаться за рысачками! Я со всею силой тянула вожжи, но коренник словно не чувствовал их, и обезумевшие от беспорядочного звона лошади несли, ничего не видя и не признавая на пути. Трагедия была задом, Гордый рвался в сторону, потому что Сергей изо всех сил в лежачем положении за возжу тянул жеребца. Воронок невозмутимо шел по прямой, круто изогнув шею и увлекая за собой остальных.

В две минуты от санок осталась одна щепка. Кое-как удалось

загнать лошадей в сугроб и остановить. Их освободили от остатков упряжи, с таким трудом изготовленной. И отправили седлать. Хоть под седлами на проводы зимы съездить.

Вывели незаменимую в таких случаях Машку. Кивая сокрушенно огромной головой, она увезла обломки на конюшню.

Воронка перепрягли в другие санки, Гордого и Трагедию заседлали, украсили красными лентами и вместе с другими верховыми направились в райцентр.

На открытие праздника мы отчаянно опоздали. Горше всего было то, что тройку нашу, единственную в районе, ждали нетерпеливо. Она должна была возглавлять колонну автобусов с самодеятельными артистами, съехавшимися со всего района. Из-за нас даже открытие праздника задержали. А мы приплелись, посрамленные, в самый разгар его, никому теперь не нужные.

Воронок сознавал свою вину и всячески старался загладить ее. Он «тянул», как выражаются ребята, возглавляя скачку, все десять километров до райцентра, не позволяя никому не только обогнать себя, но даже «висеть на хвосте». Какого труда это стоило ему, не рысаку, в соревновании с породистыми, тренированными рысаками, видно было всякому: густой пар валил от его глянцевого, повлажневших боков. Но даже если бы он умирал от напряжения, он все равно не позволил бы себе следовать за чужим хвостом. Таков был характер у Воронка.

Воронок был всем хорош: и красив, и вынослив, и силен. Езды шагом он не признавал. Сколь бы далека ни была дорога, шел четкой, горделивой рысью. Если ходу не давали, той же рысью «шел», стоя на месте, — танцевал беспрестанно. Для большинства лошадей, которых тренируют для соревнований по выездке, очень трудно дается этот, считающийся наисложнейшим, элемент высшей школы верховой езды — бег на месте, по-настоящему — пиаффе. У Воронка пиаффе было врожденное.

Воронок был нетерпелив. Запряжку он переносил сравнительно спокойно, стоял, не шелохнувшись, пока супонь затягивали, шлею расправляли, крепили седелку, но стоило пристегнуть вожжи, как он срывался с места и его ничуть не интересовало, успел возникший вскочить в сани или остался размахивать руками сзади. Поэтому запрягать приходилось вдвоем. Один сидел в санях наготове, другой — пристегивал вожжи.

Зато красивее коня в упряжи просто нельзя было сыскать. Он плыл над снегами, словно черный лебедь, его постоянно приходилось осаживать. Сдерживаемая сила играла в нем, он танцевал и сверкал на солнце, отливая особым блеском, каким может светиться только сытая и здоровая лошадь. Отсутствием аппетита он никогда не страдал, но при этом никогда не толстел: всегда был одинаково подтянут — ничего лишнего, что мешало бы в беге.

Под седлом он был ничем не примечателен, конь как конь, но в упряжи преображался, от него невозможно было глаз отвести.

В райцентр на праздник прибыл Воронок значительно раньше хваленых рысаков. Однако многокилометровая скачка не прошла бесследно для Воронка: он заболел. Вероятнее всего, потный, на сквозняке простудился. Спустя некоторое время у него начались колики. Такие колики в народе называют ветреными.

Колики то прекращались, то возобновлялись по несколько раз в день. Мальчишки то и дело бегали за ветеринаром. Ветеринар работал первый месяц после учебы. Опыта ему явно не доставало. К тому же лошадей они вообще не изучали, только крупный рогатый скот и овец. Однако он добросовестно приходил, качал головой, вопросительно оглядывался на меня:

— Что это с ним?

На всякий случай делал укол кофеина для поддержания работы сердца. Мы делали Воронку клизмы по несколько раз в день, изводя массу воды, которую носить приходилось с фермы — нужна была теплая вода, — делали массаж живота с различными втираниями, тепло укутывали после массажа... Колики прекращались на несколько часов, боль отступала, и Воронок с облегчением принимался жевать сено, а через час-полтора снова вставал в трудную, напряженную позу, опершись шеей о край стойла так, что кровь проступала в этом месте сквозь кожу. Прогибался, подводил ноги под себя. Когда и это не помогало, падал на пол и катался, переваливаясь с бока на бок и отбиваясь от несносной боли всеми четырьмя ногами. Чем дольше он бился с невидимым противником в борьбе, похожей на агонию, тем больше слабел и под конец молотил ногами вяло, вставал с пола потный, как после изнурительной работы, со страшными ссадинами на боках и снова принимал неестественную свою мученическую позу, окаменевал и дрожал мелкой дрожью, как от озноба или страха. Поза такая, вероятно, ослабляла несколько приступы боли, и он часами простаивал так, пока боль не обострялась и не валила его снова с ног.

Заболел он не сразу после праздника. Возможно, причина была и не в простуде. Прошло недели две, когда обнаружили колики, сначала слабые, затем все усиливающиеся. Слабые колики у лошадей случаются довольно часто, причиной их может быть даже смена погоды или излишне грубый корм, но они сами и проходят чаще всего, поэтому сначала я не особенно испугалась, пока однажды не застала Воронка непрерывно шагающим по периметру денника. Ходил он торопливо, с какой-то иступленной сосредоточенностью, потом вдруг бросился на пол и начал биться. Это меня и испугало. Я заставила его подняться, вывела на улицу, оставила без привязи, потому что конь все время норовил лечь, и побежала со всех ног за ветеринаром.

Через несколько минут вернулась, но Воронка — не было. Мы с ветеринаром обошли все вокруг, заглянули во все ближайшие строения, расспросили всех встретившихся людей — никто не видел. Лошадиные следы по апрельскому снегу хорошо были видны. Воронок несколько раз обошел вокруг конюшни, подошел к телятнику, и там на дороге следы пропадали. Куда он мог уйти?

Невдалеке высился сарай для хранения сена. Ветеринар сходил туда и вернулся ни с чем.

Ветеринар ушел по другим своим делам, а я целый день провела в поисках Воронка. Обзвонила все ближайшие деревни, обошла все, что можно обойти, — Воронок как сквозь землю провалился.

Первые проталины и сырой снег не хранили следов. Утренние следы Воронка растаяли, и вовсе ничего теперь нельзя было угадать. Отчаявшись в своих безрезультатных поисках, решила напоследок заглянуть в сенной сарай, куда утром уже ходил ветеринар. Сарай огромный, рассчитан на 500 тонн прессованного сена. Сено за зиму не скормили, и сарай был основательно набит кипами. Залезла на гору кип, начинающуюся от самых ворот, — нет, не мог сюда проникнуть Воронок. Слишком высоко. И все-таки излазила весь сарай вдоль и поперек, чтоб убедиться — не было здесь Воронка.

Что-то не позволяло мне уйти так вот, ни с чем, и, уходя, я позвала жалобно, ни на что уже не надеясь:

— Воронок, Воронок...

Неожиданно у самых моих ног сено шевельнулось, и показалось черное пятно — ноздри лошади. Бросилась раскидывать сено, выкопала голову Воронка. Все остальное было глубоко под сеном. Как он сюда попал? Вероятнее всего, для того, чтоб поваляться, искал подходящее место. Валяться в мокром снегу приятного мало, вот и нашел — сено. И провалился между кип.

Семь часов пролежал он в таком положении — вверх ногам. Сколько лежал, столько и молотил копытами, взбивая в пух кипы и зарываясь все глубже.

Я гладила Воронка по слезящейся морде, приговаривая:

— Сейчас выкопаемся, Воронок. Сейчас, потерпи...

Надо бежать за людьми. Сколько времени уйдет, пока добежишь до деревни да людей соберешь. А Воронок дышал тяжело, видно было, что ему трудно в неудобном, неестественном этом положении — вверх ногами. Из ссадины на скуле сочилась кровь. Пока бился — расцарапал себе грубым клеверным сеном.

Воронок слабо пошевелил ногами, делая последнюю попытку высвободиться из плена, и еще углубился, провалился спиной. Пожалуй, некогда бежать за людьми!

Обливаясь потом, я раскидывала ближайшие к Воронку кипы, пока он не оказался на некотором возвышении, как на столе. Теперь надо было вытащить кипы из под его бока. Но он так зажал

их своим весом, что силы не хватало пошевелить их. Принялась вытаскивать сено пучками, разрезая шпагат.

С одной стороны удалось подкопаться, и я с трудом уложила Воронка на бок. Не так просто сделать это женскими силами: лошадь — не ягненок.

Воронок помогал мне, как мог. Оказавшись на боку, он медленно, словно не веря своему освобождению, встал на затекшие ноги и потянулся к выходу. Пришлось придержать его. Теперь я идти не могла. Все силы израсходовала на эту работу.

Пошатываясь, мы вышли из сарая и побрели к конюшне.

Вечером колик у Воронка не было, и я обрадовалась — все обошлось! А утром застала Воронка в ужасном состоянии. Он смотрел напряженными, страдальческими глазами, и падения его были страшны. Он падал и отбивался, отбивался, отбивался неистово от невидимого врага, затаившегося в нем самом.

Мы лечили его всеми известными нам средствами, но улучшения не было. Я больше не надеялась на мальчишку-ветеринара, добыла ветеринарный справочник довоенного выпуска, очень подробный и вполне доступный для понимания, часами сидела с этой толстой книгой напротив Воронка. Причин для колик было описано великое множество — начиная от первой страницы, кончая семисотой. Почти все внутренние болезни животных сопровождалась коликами: и нервные, и простудные, и глистные, и урологические, и от желудочного свода, от неправильного кормления... И все они внешне проявлялись почти одинаково. Я совсем заблудилась в этом дремучем лесу колик, но продолжала изучать, выискивая общие или, по крайней мере, безвредные методы лечения. Способы лечения были описаны самые разные, зачастую взаимно исключающие друг друга. Одно и то же лекарство могло и усугубить, и излечить недуг. Нужен был точный диагноз, но как его определить?

Продолжались его мучения около двух месяцев. Пришла весна, Воронка выпустили на сочную молодую травку, и колики ослабли, оставив нас в глубоком недоумении — что же это было? Солнце и сочная зелень оказались сильнее и ветеринара, и того врага, от которого Воронок так упорно и так долго отбивался.

Воронка вновь отдала на лето в Мальгино пастуху Николаеву Евгению. Воронок повезло с хозяином. Николаев был лучшим пастухом района и к лошади относился по-человечески. Отработав сезон с пастухом, Воронок возвращался «как новенький», без следов утомления или похудения, не то что лошади других пастухов. Я радовалась за Воронка. Однако колики у него, хотя и не столь сильные, но то и дело повторялись. Случались они и с другими лошадьми, но опыт, приобретенный за время лечения Воронка, не пропал даром. Все колики я излечивала сравнительно быстро, научилась ставить правильный диагноз и почти никогда не ошиба-

лась в выборе средств. И только Воронку ничего не помогало.

Болезнь его продолжалась два года. Воронок исправно нес службу, без всякого снисхождения на недуг. Невидимый враг доконал его в одни сутки. Умер он в мучениях. При вскрытии обнаружили раковую опухоль в тонком отделе кишечника.

## МАШКА

— Пойдем, Машенька, — говорю я кобыле, и она недовольно переступает с ноги на ногу. Опять молодые лошади что-то натворили, а ей расхлебывать!

Машка — прямо-таки палочка-выручалочка. Без нее конюху «и ни туды, и ни сюды». Молодые лошади дурят, разбивают санки, ломают оглобли, выпрягаются невесть где в чистом поле, и тогда Машка, экипированная соответственно случаю, пробирается по глубоким сугробам к месту происшествия, впрягается в обломки и тащит домой, недовольно фыркая и качая сокрушенно большой головой чисто по-старушечьи: ох уж эта молодежь! Ничего-то они не умеют, ничего им доверять нельзя! Всему учить надо!

И Машка — учит. По натуре она прирожденный воспитатель. Молодняк в табунах побаивается ее строгости. Машка не признает никакого панибратства. Необученные кобылки, запряженные в паре с нею, не смеют безобразить и с безропотным послушанием налегают на хомут, впервые ощутив противную дрожь в ногах от натуги.

Машка необыкновенно легка в управлении, поэтому молодых лошадей работе в упряжи обучаем в паре с нею. Сначала в качестве пристяжных, потом, когда наберутся от старшей подруги послушания и научатся добросовестно налегать на хомут, запрягаем самостоятельно.

Пристяжных для троек тоже «обкатываем» с Машкой. Как бы ни разохотились ретивые рысаки, стоит взять вожжи, Машка останавливается. Пристяжные горячо рвут построжки, грызут удила, копытят снег, но Машку с места не своротить. Она стоит, с глубоким презрением отвесив нижнюю губу и монументальной тяжестью своей удерживает глупых пристяжек на месте. Это очень удобно, пока лошади не съезжены. Не разнесут.

Пытались запрягать Машку пристяжной — она категорически отказывалась. Чувства собственного достоинства не могла в себе превозмочь. Уважала себя только в роли коренника. Быть пристяжной, то есть соподчиненной, ведомой, вспомогательной, никак не в ее характере. Встанет, опустив обиженно морду до самой земли, прижмет уши норовисто и — ни с места! Весь вид ее говорит: нашли молодуху для забав!

Денник Машки первый от входа. Когда я подхожу утром к конюшне, Машка узнает меня по шагам издали и ржет дружелюбно. Потом, отпирая замок, я слышу, как Машка шумно поднимается с пола и отряхивается. Открываю дверь — Машка уже стоит наготове, просунув голову в проход.

— Сахару хочешь, Маша?

На слово «сахар» Машка всегда живо реагирует. Между тем, когда Машку поставили на конюшню, она не знала вкуса сахара, обнюхивала его подозрительно и отворачивалась недоверчиво: дескать — не обманешь. Теперь она поняла, что это такое — сахар, сторожит мой приход, и все-таки берет сахар неловко, с пугливой готовностью. Подбирает большие губы вслед за принятым лакомством, боясь его потерять, удовлетворенно хрумкает и через минуту шумно вздыхает: мало!

Машка как-то всегда угадывает, с сахаром я иду или без него, и сообразно тому ведет себя, но никогда не унижит себя до выпрашивания, не заискивает, как другие лошади, например, попрошайка Мазурка. Чувства собственного достоинства не теряет.

Машка сама солидность. Ходит она преимущественно шагом, с явной неохотой переходя на рысь. Она самая крупная лошадь в конюшне. Даже длинноногая рысачка Вьюга и чистопородный владимирский тяжеловоз Ланолин не могут с ней тягаться. Ни одна шлея с других лошадей не подходит Машке, и ей сработали персональную, которая со всех других лошадей сваливается. Машка самая мощная, самая сильная, самая смиренная, послушная — самая-самая-самая! Подростки, рвущиеся до рысаков, с недоверчивой усмешкой воспринимают мое веселое заявление, что незаменимое Машки лошади нет, что это — моя лошадь. После того как не стало Улыбки, больше времени, чем другим лошадям, я уделяла Машке.

У Машки есть один существенный недостаток. Как нет людей без недостатков, так нет и идеальных лошадей. Машка недолюбливает детвору. Быть может, ей надоело это грачиное галдение день-деньской на конюшне, может, она не хотела быть отданной на откуп этой крикливой братии, как отдана игренивая Кума, но, вероятнее всего, когда-то ей крепко досадили, она так и не простила.

Прожила Машка долгую и многотрудную жизнь. Непосильным трудам Машкиным пришел конец, только когда она попала на конеферму, в этот своеобразный лошадиный оазис. Но и здесь потребовалось немало времени, прежде чем она поняла, что дурного ей не сделают, оттаяла, перестала забиваться в угол при виде человека. Теперь она с какой-то трогательной готовностью тянется к уздечке и терпеливо стоит, пока под ремни заправят ее большие уши. Но застарелая обида, бездумно нанесенная кем-то из малышей, засела в ней крепко. Даже когда детская ручонка протягивает ей сахар, Машка огрызается. Гоняется вокруг конюшни за ребятней.

оскалив зубы и прижав уши. Вид ее в такие минуты ужасен, но никого ни разу она не тронула. Просто пугала. И все-таки от такого пугания слез пролило море.

Машка стара. Не настолько стара, чтоб совсем ее со счетов сбрасывать, списывать в расход, но стара, чтоб жеребиться. Последним ее дитем был непутевый Зенит (чём старше кобыла, тем хуже приплод), затем Машка прохолостела два года подряд, и зоотехник готова была одним росчерком пера лишить ее жизни во благо выполнения плана по мясозаготовкам, но я до хрипоты отстаивала Машку, перечисляя ее преимущества перед прочими лошадьми (хотя любую я отстаивала бы с не меньшим жаром), прибежала из конторы, кидалась Машке на шею и утешала, скорее себя, чем ее:

— Не бойся, Манюшка, никому тебя не отдам!

Машка, вся окаменевшая от недобрых предчувствий, не двигалась, но какие-то нотки в моем голосе ее трогали, она клала свою огромную голову мне на плечо и так затихала, только вздрагивала всем телом.

Машка — надежная лошадь. Деревенские для мелких работ возле дома чаще всего берут ее. И зот здесь меня так и подмывает сделать небольшое отступление.

Сельские жители и дачники, как о синей птице, мечтают о некоей универсальной машине, обрабатывающей огород. Чего только не напридумывали домашние конструкторы! Из мотоциклов делают мини-культиваторы, из полотера — газонокосилку, даже пылесос приспособили. Между тем нет и не было для приусадебного участка более универсального двигателя, чем лошадь. Обычная лошадь, с набором несложных почвообрабатывающих или кормодобывающих орудий. Меня всегда неизменно веселит вид мотокосилки, когда о ней как о величайшем достижении разума человеческого говорят, что она способна не только косить — но и возить накошенное! Правда, по ровной дороге. И в небольшом количестве. То же самое лошадь делает гораздо эффективнее. Причем не требует горючего. Гораздо проходимее и производительнее. Сама же удобряет огород отличным удобрением собственного производства, которое ни в каком магазине не купишь. А все портативные, малогабаритные, с претензией на универсальность механизмы — всего лишь попытка заменить лошадь. Чаще всего безуспешно. И никто не задался вопросом: надо ли лошадь заменять? Зачем ее заменять? Зачем переводить тонны металла и прочего материала, чтоб заменить естественное творение природы, способное к воспроизводству самым естественным образом?

Порой лошадь и впрямь незаменима. Мы почувствовали это сразу, как только Машка охромела.

Первый день хромота была едва заметна, затем усилилась, и вскоре Машка перестала приступить на заднюю правую. Нога до

скакательного сустава опухла, опухоль была горячая и быстро распространялась. Причину хромоты установить не удавалось. Машка не находила себе места от боли, то ложилась, то вставала и стонала хрипло, отрывисто. Страдания ее усугублялись тем, что и второе заднее копыто, не выдержав тяжести веса, на него перенесенного, треснуло почти до венчика и кровило. Теоретически стоять Машка не могла. Но нестерпимая боль совсем лишила ее рассудка, она мученически поднималась с пола, делала несколько судорожных скачков и снова падала на подстилку. Лежала она, освободив больную ногу и стараясь держать ее на весу.

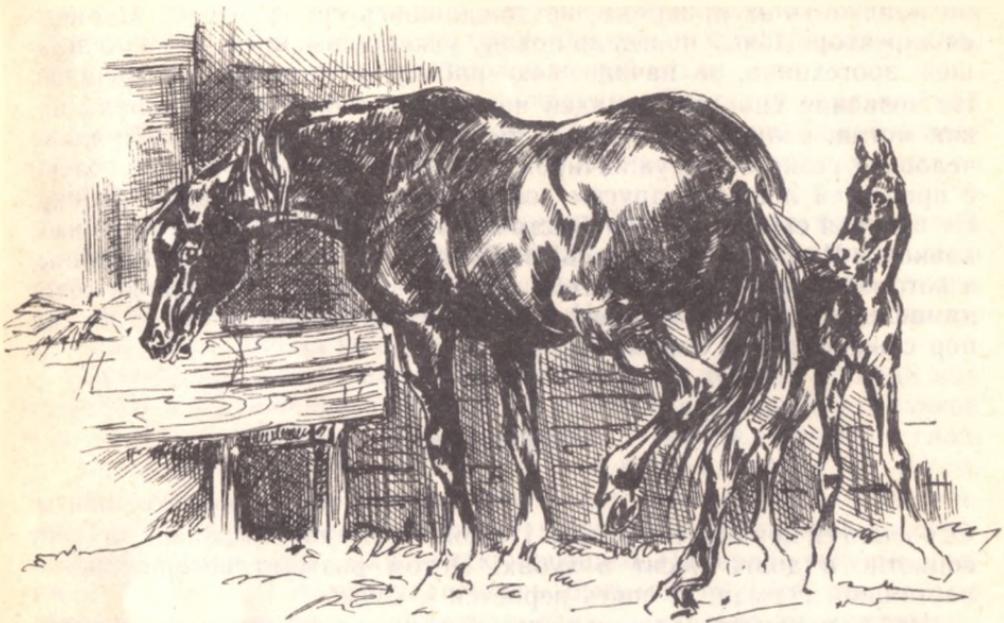
Тщательно, миллиметр за миллиметром, я исследовала подошву, копыта и обнаружила крохотную металлическую зацепку в самом болезненном для лошади месте — в центре стрелки. Долго билась, чтоб захватить эту зацепку щипцами, наконец мне это удалось и я, как занозу, вырвала гвоздь. Огромный, кованый, четырехгранный — таких теперь и в помине нет. Где она такой нашла? Вокруг гвоздя в копыте началось воспаление и гвоздь подался легко, словно его тащили из масла.

В тот день Машка впервые за восемь суток пожевала с неохотой сена. Настоящий аппетит пришел спустя три месяца, когда окончательно пропала опухоль и боль унялась.

За время болезни Машка сильно похудела. От былой ее дородности не осталось и следа. При всяком посещении ветеринар твердил, что ее нужно сдать. Это была жесточайшая несправедливость: Машку, добросовестно отработавшую на человека два десятка лет, лишить жизни за одну только неспособность понести от жеребца. Я не верила, что из-за ранения копыта Машка не сможет больше работать. И оказалась права. В конце декабря, т. е. спустя четыре месяца с начала болезни, мы вновь запрягли Машку. В первый же день ее взяли возить дрова. Работа была не очень тяжелая, внутри деревни, но Машка, ослабшая после болезни, взмокла, хоть выжимай. Женщина, которая брала ее, в благодарность за Машкино безропотное послушание принесла на конюшню кулек сахару. Машка от сахара обиженно отвернулась, его раздали другим лошадям, они хрупали за Машкино здоровье, а Машка на этот хруст только шевелила ушами и отворачивалась, презрительно оттопырив нижнюю губу.

Машку снова стали регулярно запрягать, она втянулась в работу, окрепла, даже норовила пробежаться с грузом, чего за ней раньше не водилось.

Казалось, она радовалась самой возможности двигаться, словно родилась вновь и помолодела. Помолодела настолько, что запросилась к жеребцу, а следующим летом ожеребилась и подарила нам прелестнейшее существо — Ласточку. Машка ревниво оберегала свое сокровище, не позволяла не только дотронуться до ма-



лышки, но и взглянуть на нее. Даже сахар взять боялась, только прядала ушами, когда ей говорили: «Ну, возьми сахар!», и ни на шаг не отходила от жеребенка.

И надо было так случиться: ночью, непонятно как, двухнедельная Ласточка повредила себе ногу. И не просто так повредила, а самым серьезным образом. Ветеринарный врач определил у нее перелом бедренной кости. Пока накладывали гипс на ногу жеребенку, Машка исходила истерическим визгом в соседнем деннике, куда ее пришлось убрать на время процедуры.

Хрупкая перегородка под натиском величественной Машки стонала и содрогалась. Мы торопились.

Машку вернули на место, она сразу бросилась к жеребенку, уткнулась в него мордой и успокоилась.

Ласточка не вставала. Машка кормила ее лежачую, вставала над нею и терпеливо ждала, когда та насосется молока.

Через месяц гипс сняли. Спустя неделю Ласточка уже резвилась и взбрыкивала, едва ли кто-нибудь мог поверить, что у нее была серьезная травма. Правда, к людям, причинившим ей боль во время накладывания гипсовой повязки, она относилась с подозрением — помнила каждого. Завидев, пряталась за свою монументальную мамашу и выглядывала из-за нее с хитрецей. Любопытством светились не только глаза, но, казалось, даже звездочка на лбу, такая же, как у матери.

Разлучить их пришлось, не дождавшись срока отъема. Сменился директор. Новый пошел на поводу у женщины, временно замешавшей зоотехника, и начал свою работу с ликвидации лошадей. Не позволяя сдавать лошадей на мясокомбинат, я отстаивала их, как могла, запирала конюшню на замок, чем снискала себе славу человека резкого и неуживчивого... Скрепя сердце мирилась только с продажей лошадей другим хозяйствам. Первой продали Машку. Не отнятая еще от вымени Ласточка оглашала конюшню истощным криком. Машка порывалась выскочить из кузова автомашины, в которой ее увозили, и долго с дороги доносилось ее ржание, непонимающее, испуганное, тревожное. Этот прощальный голос до сих пор слышится мне издалека...

## ТРЕВОГА

Тревога любила нюхать цветы. Особенно ей нравились флоксы. Подойдет, бывало, понюхает, откусит соцветие и долго носит в зубах. Потом разжует неторопливо — настоящий гурман. И опять вернется к клумбе.

Чтобы понюхать золотые шары, ей приходилось вставать на дыбы. Делала она это презабавно, и мы с сыном смеялись. Золотые шары ничем не пахли, Тревога разочарованно отходила, потом совсем потеряла интерес к этим рослым, таким солнечным цветам.

А еще Тревога любила яблоки. Сначала бочок надкусит, попробует, вкусное ли, потом заберет все яблоко в рот и гоняет его то за одной щекой, то за другой, пока не разжует.

Тревога была милым и очаровательным созданием. Стройная, каштаново-рыжая, с ярким солнечным отливом. Она всюду неотступно таскалась за нами: в школу, на почту, в магазин. Даже норовила к прилавку пробиться. Ее не пускали. Она била в дверь крохотным копытцем и обиженно, капризно ржала. Детское ржание ее походило на визг.

...Родилась Тревога настолько слабой, что по сути была обречена. Матери ее, Трагедии, всегда и во всем не везло. Вся жизнь ее была цепочкой больших и малых трагедий. Клички лошадям чаще всего подбирают случайно, но уж как-то так получается, что кличка, как клеймо, лучше всего характеризует эту лошадь. Трагедия постоянно попадала в разные непредвиденные истории, даже тогда, когда все неприятности, казалось, были исключены — у себя в деннике, во время отдыха. То во сне вытянется на полу и забьется головой под кормушку так, что потом целая бригада мужиков разворачивает ее, волоча за хвост. То умудрится так лягнуть, что дощатая стенка проломится и нога застрянет в проеме. Стоять на трех ногах — великое неудобство. Однажды Трагедия даже грохнулась на пол,

ударилась головой о кормушку... В конюшне никого не было, и она долго билась, безуспешно пытаясь подняться. Застрявшая нога, как заноза, прочно сидела в проломленной стене.

Когда обнаружили ее в этом положении, Трагедия сама на себя не была похожа: весь бок, на котором лежала, был сплошной ссадиной, оторванное ухо едва держалось на клочке кожи, вместо глаза — кровавое месиво.

Время было раннее: четыре часа утра. Как на пожар, бросилась я за помощью в деревню, переполошила ближние дома, несколько мужиков прибежали вызволять Трагедию. С помощью лома и топора ногу из стены благополучно вырубили. Но встать Трагедия не могла, так измучила себя за ночь попытками подняться на три ноги.

Травмы ног для лошади смертельны: ведь держат лошадь как средство передвижения, то есть из-за ее ног. К счастью, и по великой случайности, нога Трагедии не пострадала. Внучал опасения глаз.

Ветеринар обработал раны. Ухо кой-как водворили на место. Лошадь всю измазали какой-то желтой, тошнотворного запаха мазью от мух, чтоб не занесли инфекцию. Трагедия стояла жалкая, серо-желтая от мази, вонь была на всю конюшню. Намазали толстым слоем и то место, где предполагалось быть глазу. Оно так сильно отекло, что проверить собственно глаз, насколько он пострадал, не представлялось никакой возможности.

Дня через четыре опухоль начала спадать и Трагедия открыла свой глаз. Как ни странно, он оказался невредим. Пострадало только веко и околглазный участок кожи.

С жеребенком Трагедии, как и во всем, тоже не повезло. Тревога уродилась на верную гибель. Требуя еды, она оглашала конюшню заливыми трелями. Прямо-таки соловей среди лошадей родился. Но не могла ни встать, ни лежа дотянуться до вымени матери. От ржания ее звенело в ушах. Сердобольные кобылы-соседки нервно топотали в денниках, откликались с состраданием. Особенно беспокоилась Мазурка. Она страдала физически от этого крика, словно кричал ее жеребенок, неделю назад павший от порока сердца.

Ответное ржание кобыл вдохновляло жеребенка. Тревога требовала еды все настойчивее.

Трагедия сначала оберегала свое дитя, никого к нему не подпускала, но, видя, как жеребенок немощен, забыла свои материнские обязанности, в рассеянности наступала на хилое создание. Тревога вздрагивала, поднимала голову и тыкалась мордочкой в ноги матери. Кобыла пугалась этих прикосновений, словно к ней прикасался выходец с того света, и лягала в воздух. Лягалась она все злее и решительнее, теперь уже норовя ударить свое дитя. Жеребенка пришлось убраться.

Кобылы воспринимают как драму, если жеребенка забирают у них на глазах. Неизвестно, как повела бы себя Трагедия в такой ситуа-

ции, но мы постарались освободить ее от излишних страданий и убрали жеребенка в ее отсутствие. Лошадь без «нервов» оставляет жеребенка «дома», в своем деннике, когда ее уведят. Трагедию вывели на свидание с Гордым, тем временем забрали малышку. Вернувшись, Трагедия не заметила пропажи. Наверно, она не числит свое детище в живых.

Масть родителей Тревоги одинаково серая в яблоках. Тревога же уродилась огненно-рыжей. Затем она потемнела, стала каштановой красно-рыжей. После первой линьки в ее шерсти появились белые волосы, и мы не без оснований считали, что со временем она посереет. По масти родившегося жеребенка нельзя определить масть будущей лошади. Серые лошади, например, могут родиться рыжими, гнедыми, вороными, а одеться в свою постоянную одежду смогут только на втором году жизни. Но и эта масть изменчива. Серая лошадь с годами светлеет и к старости может стать белой.

Всего известно более пятидесяти мастей лошадей. Основных мастей не так уж много: вороная, гнедая, рыжая... Все остальные — преимущественно производные от этих нескольких. Та же серая масть, например, имеет множество оттенков и названий: серая в яблоках, серая в грече (с красной гречей — форелевая), темно-серая, красно-серая, светло-серая, полово-серая...

Наверняка каждый помнит есенинские строки:

Словно я весенней гулкой ранью  
Проскакал на розовом коне.

Однако мало кто подозревает, что розовая масть — не плод фантазии поэта, не литературный прием — она существует на самом деле, хотя встречается чрезвычайно редко. Так же достоверно известно, что существовала голубая масть. Согласно старинному ценнику, проехать на голубых конях стоило в пятнадцать раз дороже, чем на конях другой масти. Сохранилось множество доказательств, что лошади такой масти были. Но была ли эта масть именно небесно-голубой? Трудно сказать!

В толковом словаре Даля читаем: «...Голубая лошадь, пепельная, мышастая, иногда даже с желтизной», и далее: «голубым иногда народ зовет желтый цвет; замечательно, что цвета эти противоположны». Скорее всего «конь голуб» — одна из разновидностей серой масти, создающей зрительное впечатление голубизны.

Как бы там ни было, у каждого из нас есть своя голубая лошадь, недостижимая, как журавль в небе, независимо от масти. И мы мечтали вырастить свою «голубую лошадь».

Кличку Тревоге придумали не сразу. В кружке верховой езды, которым я руководила, существовало правило, по которому кличку жеребенку придумывал тот, за кем закреплена мать-кобыла. Трагедия была подшефной Леши Васильева. Он учился в восьмом классе.

Кличку придумывали всем классом на уроке русского языка под руководством учительницы и с помощью орфографического словаря. Тревоги с непутевым жеребенком предстояло много, поэтому так и называли — Тревога.

Кличку чистопородной лошади выбрать не просто. Здесь необходимо знать одно правило: кличка жеребенка должна начинаться с той же буквы, что и кличка кобылы-матери, а в середине непременно должна присутствовать первая буква клички отца. Кличка Тревога (дочь Трагедии и Гордого) всем правилам соответствовала, поэтому и племенное свидетельство выписали на Тревогу, ничего менять не стали.

В старые времена на Руси, когда в народе держали преимущественно простых рабочих лошадей, клички им придумывали незамысловатые, бесхитростные: Гнедок, Воронок, Рыжуха, Сивка, Бурка, Каурка... то есть по масти — гнедая, вороная, рыжая, сивая, бурая, каурая. А потом все больше стало появляться племенных лошадей в колхозах, совхозах и конных заводах, стали строго придерживаться названного правила, и кличек, самых удивительных, появилось такое множество, что иные вызывают улыбку.

В тридцатые годы модно было давать клички из двух слов, например, Заморское Чудо, Крылатая Краса, Бархатный Узор, Перегони Меня, даже Трам-Тарарам и Тревога Пожарная. Были такие знаменитые лошади из числа русских рысаков. Двойные клички нет-нет да и сейчас мелькнут: Час Пик, например, или Змей Горыныч. Наверное, от сознания, что летишь на Змее Горыныче, чувствуешь себя богатырем. Некоторые возьмутся спорить, что клички: Зубчатка, Кузбасс, Прогресс — не хуже других, но мне больше по душе Улыбка, Удача, Горлинка, Гордый... На вкус и цвет товарищей нет. Тревога — тоже звучит в духе времени, живем мы в тревожную эпоху.

Существует суеверие, что кличку жеребенку давать можно не раньше, чем через неделю после рождения. А то-де не выживет. Действительно, первые дни жизни самые трудные, самые ответственные. И дело тут вовсе не в суеверии. И все-таки, опасаясь за Тревогу, искренне тревожась за нее, мы умышленно не называли ее по имени ровно десять дней — обманывали судьбу.

Прошли эти десять дней, а Тревога так ни разу и не встала на ноги. Воспитать жеребенка без матери трудно. Хотя бы потому, что поить его надо по меньшей мере восемь раз в сутки — желудок у него маленький, не то что у теленка. Новорожденный теленок «завтракает» тремя-четырьмя литрами молока, дашь шесть, он и от этой порции не откажется, а жеребенок едва осилит четверть литра. Природой так устроено, что вымя кобылицы небольшое. Сосет кобылу жеребенок 30—40 раз в сутки небольшими порциями, но высасывает за день довольно много. Иная кобыла «доит» больше, чем хорошая корова.

Первые дни мы доили Трагедию, потом она отказалась давать молоко, не видя своего малыша, — немилосердно лягалась, и мы бросили это бесполезное занятие. Стали поить коровьим молоком. Подогревать молоко дома и ходить с ним 8—10 раз в день на конюшню было такой тратой времени, какую никак нельзя было себе позволить. Конюшня расположена за деревней, не настолько близко, чтоб бегать туда без конца, и я перенесла Тревогу домой. На руках перенесла, как дитя малое. Она и впрямь ничего не весила.

У Тревоги обнаружился завидный аппетит. Наша первотелка Красуля, не баловавшая первый год высокой удоиностью, едва обеспечивала прожорливую кобылку. Все молоко шло теперь на выпойку жеребенку. Мой сын Мишка с восторгом отказался от своей порции в пользу Тревоги, тем более что терпеть не мог молока.

...Тревога не вставала. Ветеринар делал ей уколы, мы добавляли в молоко различные обогатители: сахар, витамины, сырые яйца, льняной и рисовый отвары, толокно, микродобавки и физиологически активные вещества, но даже горький тетрациклин в молоке она выпивала с аппетитом, ни разу не оторвавшись от соски.

Шли дни. Холодный и сырой май сменился теплым июнем. Мы с Мишкой теперь выносили слегка прибавившую в весе Тревогу на лужок, укладывали ее на старую фуфайку, и Тревога с любопытством вертела головой, оглядывая цветущий мир вокруг себя, но быстро утомлялась и засыпала, смешно подогнув голову. К полудню становилось жарко, за ушами у нее влажнело от пота, мы укрывали ее светлой попонкой осторожно, чтоб не разбудить.

Приходило время кормления, Тревога просыпалась как по будильнику и требовательно ржала. Мишка выбегал с бутылкой из-под шампанского, в которой булькало молоко. Тревога жадно ловила соску и не выпускала ее до тех пор, пока в бутылке оставалась хоть капля, потом требовала еще. Но перекармливать вредно для желудка, и мы слегка недокармливали ее, зато кормили очень часто.

Время от времени мы поднимали Тревогу на ноги и заставляли ее стоять. Без посторонней помощи это у нее не получалось. Едва убирали руки, она падала, длинные ноги неловко взлетали вверх. Постепенно она научилась держать равновесие, даже делала шаг-другой по молодой траве. Длинные ноги ей явно мешали. Она запинаясь сама за себя и падала... Поднимать ее становилось все труднее, потому что Тревога набирала вес.

Первые твердые шаги сделала Тревога в месячном возрасте. Всякий нормальный жеребенок то же самое делает в первый день жизни.

Научившись ходить, Тревога первым делом обследовала все уголки сада и огорода. Незнакомых людей она панически боялась, бросалась в баньку, где жила, или искала спасения у нас с Мишкой, если мы оказывались рядом, причем старалась спрятаться за наши

спины совсем как перепуганный ребенок. Нас она узнавала по голосу, по шагам, и никогда не ошибалась, даже если видеть нас не могла.

В четыре месяца Тревоге не стало хватать молока. Она настойчиво преследовала нас и, настигнув, делала своеобразные движения губами, словно что-то силилась сказать, и говорила беззвучно, одними жестами. Молока не давали. Она обиженно отворачивалась и пыталась лягнуть — выражала протест. Лягалась она совсем не больно, но следовало отучить ее заблаговременно от дурной привычки, и мы задавали ей трепку, наказывая чисто символически. Она вконец обижалась и уходила в гордом одиночестве гулять по саду. Тогда она и пристрастилась нюхать цветы. Эта ее страсть обернулась тем, что все более-менее ароматные цветы она... съела! Клумбы без единого цветка выглядели сиротливо. Гладиолусы, георгины, львиный зев и прочие запахучие цветы ее не привлекали, и эти клумбы продолжали цвести, а к опустошенной клумбе с флоксами она возвращалась опять и опять, словно не верила, что там ничего не осталось, грустно обнюхивала голые стебли, заходила с той и этой стороны, но — поживиться было нечем. Уходя, она расстроено опускала до самой земли узкую мордочку с белой проточинкой по носу.



Через наш приусадебный участок легла тропа, по которой ходит все пешее население соседней улицы. «Прямушка» довольно оживленная. Тревога сначала избегала появляться возле тропы, дичилась чужих людей, но кто-то догадался угостить ее сахаром, и она стала патрулировать тропу, взимая пошлину с каждого прохожего. Делала она это весьма дипломатично. Подходила и смиренно касалась губами щеки прохожего. Поцелуй получался нежный. После такого проявления чувств ожидала гостинца и, если прохожий шел с пустыми руками, обиженно наддавала в воздух задними ножками, демонстрируя, что может этот прием и применить в конце концов.

Целоваться Тревогу научил Мишка. Она просто обожала целоваться. Даже когда мы обрабатывали ей копыта, она лезла целоваться и мешала работать, тычась губенками куда придется — в затылок, в спину, в руки со щипцами — докуда умудрялась достать, при этом смешно делала губы трубочкой. Незнакомых людей страстью своей Тревога обращала в паническое бегство: все уверяли, что она хотела укусить. А Тревога не понимала, почему от нее убегают, и, не желая так просто смириться с потерей надежды на кусок сахара или сладкое яблоко, преследовала беглеца до калитки.

Мы с Мишкой души не чаяли в нашей питомице. В младенчестве Тревога ничем не напоминала лошадь, и трудно было поверить, что из нее что-либо выйдет. Но к годовалому возрасту из слабого, с заплетающимися ногами существа получилась ладно скроенная, легкая, грациозная молодая кобылка. Мы привели ее на конюшню, знакомить с лошадьми. Она тянулась к лошадям через решетки, обнюхивала каждую и шла дальше. Лошади встретили ее агрессивно: норовили укусить, взвизгивали, лягались. Только Трагедия приняла благосклонно. Со своими родственниками лошади не ссорятся и драк не затевают. Но как они узнают своих? Тревогу от Трагедии забрали такой малышкой, что мать просто не могла узнать в ней теперь свое непутевое дитя. И все-таки узнала.

Лошади безошибочно узнают свою родню, даже если воспитывались на разных конюшнях. Кобыла-бабушка и даже прабабушка оберегает своих внучек и правнучек, привезенных с другой конюшни, хотя раньше вообще не подозревала о их существовании.

Летом мы пустили Тревогу в табун. Она все норовила прибежать домой, но потом постепенно привыкла к новому месту.

Мы так полюбили Тревогу, что не хотелось с нею расставаться. Страшно было отдать ее в чужие безжалостные руки. Мы просили продать Тревогу нам.

Закон разрешает держать лошадь в личном подсобном хозяйстве, но... совхозам и прочим государственным предприятиям запрещено продавать лошадей «в руки». Такой вот парадокс. А где же еще купишь лошадь?

Пришло время, и однажды осенью Тревогу увезли на ипподром — на испытания. Через два месяца мы с Мишкой навестили ее и застали в ужасном состоянии. Тревога никого к себе не подпускала, даже нас не узнала. Сахар у Мишки взяла с явным недружелюбием, зло прижимала уши, норовила ударить или укусить. Мишка уходил с ипподрома со слезами на глазах:

— Они, наверно, били ее! Чего она такая злая?

Тревога по жребию досталась лучшему наезднику ипподрома Ляпину, но он в эти дни был в отпуске. Помощник наездника сказал про Тревогу: «Балованная». Его товарищ добавил: «Ничего, шелковая станет! Забудет про сахар!» — и недобро усмехнулся.

Мишка сердито посмотрел на него и отвернулся.

К тому времени мы уже добились разрешения, оформили покупку, и теперь Тревога была наша, не совхозная, но не стали снимать с испытаний — нужно знать, на что она способна. «Очень породна!» — сказали про нее специалисты на выставке, и нам грезились какие-то особые результаты испытаний. Может, у нее талант? Но домой мы возвращались с беспокойной совестью. Ведь наездник не знает, что Тревога родилась слабой и физически не подготовлена, а и узнает — разве будет шадить? Каждый результат будет даваться ей куда большим трудом, чем другим лошадям.

Можно ли из «гадкого утенка» сделать «голубую лошадь» безболезненно для нее? Все зависит от того, в какие руки попадет лошадь. Вот о чем думали мы в дороге. И все стояла перед глазами отчаянно не желающая признавать чужих людей Тревога, сгоряча поначалу принявшая и нас за чужих. А может, обиды простить не могла — зачем отдали? И долго преследовал нас, как наваждение, овал беговой дорожки, где сама земля, обильно политая конским потом, пряно и остро пахла, как взмыленная лошадь.

Время от времени мы навещали Тревогу. Миновала осень, затем зима, начался первый для нее беговой сезон. Мы приехали в мае. Тревога заметно подросла и окрепла. Теперь она была не каштановая, а красно-серая, даже белая отметина на морде как будто раздалась и увеличилась.

Возвращаясь домой, Мишка мечтательно улыбался на заднем сидении машины и прижимал к груди программу испытаний, в которой напротив клички «Тревога» стоял первый результат ее испытаний и значилось первое место. Она выиграла вступительный приз.

Через два года испытаний Тревога вернулась домой. Вернулась с хронической хромотой и безнадежно испортившимся характером. Теперь она подозрительна и агрессивна. Услышав человеческий голос, злобно лягает в стену стойла, прижимает зло уши и, остервенело оскалась, демонстрирует готовность укусить. Сколько времени и терпения потребуется, чтоб она вновь стала доверчивой и добронравной? А пока выпускать на волю ее опасно — она пристаёт к прохожим. Пришлось соорудить загон возле дома, где она резвится.

Тревога хороша собой. Ладная, все более сереющая, с заметно проявляющимися на боках светлыми яблочками...

Но для работы она не годится. Однако сознание этого не портит ей аппетита. По нескольку раз в день я наполняю кормушку сеном и со страхом наблюдаю, как та на глазах опорожняется. Пока я работаю на нее, а не она на меня. Практичные соседи надо мной посмеиваются — этим сеном двух коров прокормить можно. Но я терпелива. Выслушиваю противоречивые советы разных ветеринаров, изучаю литературу по лечению хромоты и ежедневно, в самом буквальном смысле рискуя головой, делаю растирания и тугие повязки на путо-

вый сустав передней левой. Ведь Тревоге всего три года. Вынести ей смертный приговор духу не хватает.

## ПОКА, БУЯН!

Буян был козлом отпущения. Так уж повелось, что самые трудные — на выживаемость — работы доставались Буяну. Такова была его участь.

Дмитрий Урнов в своем предисловии к книге английского писателя Джеймса Олдриджа «Удивительный монгол» написал: «...В таком раю, как сегодня, лошади никогда не жили... Людям поистине остается бледнеть от зависти к лошадям, которых они сами поставили в привилегированное положение». К счастью, Буян читать не умел и слов этих не знал. Но от его имени смею утверждать, что судьба лошади и сегодня, за редким исключением, весьма драматична.

О выдающихся лошадях написаны стихи, песни, книги, сняты фильмы. А кого волнует судьба простых, рабочих, незаметных, но незаменимых лошадей, про которых на первый взгляд и сказать нечего: ну, работают, ну, не распрягают их сутками, ну?.. Рекордов они не ставили, звезд с неба не хватало, звание героев труда им не присуждают, а отработают свое, не на заслуженный отдых идут, а — на бойню. Да и выросли они не в холе да ласке, а как придется. Ведь лошадь теперь в совхозе или колхозе — дело третьестепенное для хозяйственников. Но общее конепоголовье в массе своей состоит из обычных, рядовых лошадей.

Буян был типичным представителем этого многочисленного отряда. Мерин без роду-племени, на племенной конеферме он был менее ценной лошадью по сравнению с другими, поэтому его участь была участью пасынка. Если на конюшне не хватало места, Буяна выдворяли в холодный, продуваемый насквозь тамбур. Буян покрывался инеем, из вороного делался белым, но при виде конюха молодецкато перебирал копытами и бодро прядал ушами. За зиму он покрывался густой шубой. Наверное, шуба и спасала его от простуды. Известное дело: холода лошади не боятся, но умирают от сквозняков.

Сквозняки для Буяна были малой неприятностью по сравнению с Болтом.

Болтышев Николай Семеныч, которого для краткости все звали в глаза и за глаза Болтом, был не просто бессердечен, а по-настоящему жесток с лошадьми. Если какая-то лошадь на конюшне «отбивалась от рук», ей грозили:

— Смотри, отдам Болту. Он из тебя дурь вышибет с душой вместе!

Болт работал пастухом и каждый год губил по лошади. Если сосчитать всех загнанных им и отправленных на тот свет: набралась

бы приличная конюшня. Его как зывали. Он выплачивал стоимость лошади, но на следующий сезон лошадям у него опять жилось не легче. Он просто не понимал: как это — жалеть животное?

Не дать ему лошадь было невозможно. Был он немолод, пешком пасти отказывался, а горькая нужда в пастухах заставляла начальство умолять его выгнать скот. Поломавшись, Болт соглашался и первым условием, которое ставил, была лошадь. И лошадь получше. Бригадир и зоотехник до головной боли задумывались, кого бы ему дать менее ценного, все равно на погибель, но поживучее, крепче, выносливей — авось выживет. Обычно выбирали из молодых лошадей. Но и самые выносливые не выдерживали.

Работая в должности заместителя директора, я несколько раз заключала договор с Болтом на пастьбу коров. Однажды он потребовал рыжего, рослого красавца Лыско. Когда Болт забирал его с конюшни, Лыско плясал и зеркально лоснился. А осенью я нашла этого мерина, случайно наткнувшись на него возле фермы. Узнать его было нельзя. Первый снег неторопливо ложился на его маслястую, клочковатую спину. Лыско стоял с безучастно полуприкрытыми глазами, глубоко безразличный ко всему вокруг, даже к холоду. Сил у него не было даже на то, чтоб махнуть хвостом. Но это я поняла спустя несколько минут, а сначала, ругая про себя Болта и чертыхаясь, заседлала мерина и взгромыдилась на него. Под моей тяжестью Лыско переступил и пошатнулся. Я тронула поводья, он сделал еще шаг и едва не упал. Пришлось вести его в поводу. Он и порожний едва тащился. И все-таки Лыско повезло — он выжил в бездумных, бессмысленных, жесточайших скачках под Болтом. Его предшественнику Орлику повезло меньше — тот даже до осени не дожил.

До конюшни было чуть меньше двух километров. Лыско несколько раз останавливался, чтобы передохнуть. Я уж подумывала, не снять ли с бедолаги седло и не взвалить ли на себя, чтоб облегчить бедного мерина, но до дому оставалось недалеко, а седло было мокрое и грязное, не захотелось пачкаться, и мы брели.

Пешие старушки, направляясь в магазин, беззастенчиво нас обгоняли. Гордость Лыско от этого ничуть не страдала. У него не было больше гордости. Все вышиб Болт.

Со временем Лыско поправился, по крайней мере внешне, набрал тело, но работать больше не мог. Рейзбек, бывший конюх, не хуже иного цыгана променял его в соседнем хозяйстве на необученного молодого Буяна.

В первый год после обучения Буян к Болту не попал. Попала пятилетняя кобылка Майка. Хорошая кобылка. Болт плохих не брал.

Каприз взрослого человека далеко не так безобиден, как — ребенка. Ребенка, по крайней мере, можно убедить, отговорить, сыграть на каких-то иных интересах. Болта отговорить или убедить было невозможно. Ко всяким словам он оставался одинаково глух, а к сос-

тоянию лошади — слеп. Майка протянула всего два месяца и умерла мученической смертью. От чрезмерных усилий у нее произошел обрыв почек. Ходить с этой страшной травмой она не могла, тащила свое тело одними передними ногами, а Болт все стегал ее, заставляя скакать, пока она совсем не упала. Но и лежачую он не оставлял в покое, все норовил и с того света вернуть привычным средством — плетью.

А на следующий год Болт потребовал Буяна. Сердце мое кровью обливалось, когда я своими руками собирала коня. Болт к тому времени перебрался на центральную усадьбу, и Буян на ночь возвращался в конюшню. При виде Болта он трусливо забивался в угол и трясясь, подобрав зад.

Буян жадно держался за жизнь. Он отошал страшно, из вороного выгорел до карего, спина его, постоянно сбита седлом, кровоточила. С окончанием пастбищного сезона Буян до половины зимы отлеживался, почти не вставая — ноги не держали. Однако здоровье его и работоспособность существенно не пострадали.

Пришла весна. Болт затребовал опять Буяна. Буян понравился ему безропотным послушанием и выносливостью. Выносливость такого рода правильнее было бы назвать выживаемостью. А что касается послушания, то Буян действительно под Болтом становился шелковым. И не только под Болтом.

Зимами мы использовали его пристяжным в тройке. Он и пристяжным пошел так, словно родился в шорке.

Второй пастбищный сезон под Болтом дался Буяну не менее трудно, чем первый. Случалось, его «забывали» поставить на ночь в конюшню, привязывали к столбу, а утром, голодного и искусанного комарами, заставляли гнать скот на пастбище. В обеденный перерыв, пригоняя скот на дойку, пастухи уходили домой, оставляя мерина на солнцепеке. Озверевшие слепни роились вокруг него, и он не стоял, а бесновался на месте. Зато когда Буяна водворяли на ночь в конюшню, я засыпала ему полную кормушку овса. Он съедал до двадцати килограммов, не оставляя и зернышка на дне. А что еще могло поддержать его силы? Днем Болт не позволял ему и травинку сорвать.

Пастухов в этот год было двое. Им дали две лошади, но от второй они отказались и обходились одним Буяном. К осени коров на обеденные дойки гонять перестали, и пастухи с дальнего пастбища по очереди приезжали домой на Буяне обедать. Если магазин бывал закрыт — обед без спиртного они не представляли себе — успевали сгонять до районного центра. В общей сложности за день одних только дорог Буян «наматывал» километров семьдесят — восемьдесят. Жаль, что у него не было спидометра. Трудно учесть еще те километры, которые он «осваивал», пока пас стадо. И все время на предельной скорости. Даже когда коровы отдыхали, мирно пережевыв-

вая жвачку, Болт все равно скакал вокруг лежащего стада, как заведенный. А вечером, пригнав коров на ферму, опять носился вскачь по деревне без цели и смысла. Вероятно, такая езда доставляла ему непонятное удовольствие.

Иногда Буян удирал от хозяина. Я расседывала его и выпускала на волю — из сострадания. Кроме меня, на свободе он никому, тем более Болту, не давался. Предательством было бы с моей стороны за его доверчивость взять и опять отдать Болту. И я давала Буяну отдохнуть пару дней, говоря настырному Болту, что он и мне не дает в руки.

Немногие лошади так подозрительны, как Буян. Интуиция лошадей поразительна. К доброму человеку, даже незнакомому, они тянутся сами. Множество раз мне приходилось наблюдать, как лошади реагируют на появление на конюшне незнакомою человека: к одному все дружно поворачиваются мордами, к другому — тем местом, которым привыкли оборону держать.

В одном из фильмов (забыла его название), есть эпизод, примечательный в этом смысле. Ездовой, который правит тройкой, говорит своему товарищу, что незнакомец в возке с ними — недобрый человек: вон, лошади ушами прядут и нервничают. Остерегаться чужака надо. Так и оказалось.

Здесь нет никакого вымысла. Человек, хорошо знающий повадки лошадей, может «прочитать» по их поведению многое, даже характеристику незнакомцу.

Буян после знакомства с Болтом уверовал, что все люди — плохие, а раз так, то — от греха подальше. И никого к себе не подпускал. Должно быть, в своей лошадиной логике он был прав. Но Болт отказывался пасти пешком, и вновь я отдавала ему Буяна. Болт был высокий, костлявый, смуглый, как цыган, он как-то цепко держался в седле, обхватив бока лошади длинными ногами и целый день не вынимал ног из стремян. Даже когда был пьян, с лошади не падал. И чем пьянее был, тем безжалостнее гонял взмыленную лошадь, пока не засыпал в седле на полном скаку. Буян сам привозил его к конюшне.

Я бранила Болта, заставляя его чаще подтягивать подпруги, чтоб не калечить спину лошади. Он огрызался:

— Есть когда мне подтягивать!

— Чтоб затянуть, сидя в седле, времени совсем не нужно. На обтертой лошади ездить нельзя!

— Другую дашь!

У Болта была железная логика: если на конюшне еще два десятка лошадей, зачем беречь Буяна? Сдохнет — вон их тут еще сколько. На наш век хватит.

У меня в глазах темнело от мысли, что на мучения к Болту могут попасть и эти лошади, в большинстве своем жеребье конематки.

Чем ближе подходила осень, тем слабее становился Буян. Он возвращался к ночи по самую спину в дорожной грязи, с пудовыми гириями засохшей глины на хвосте. Не спасали его больше и двадцать килограммов овса, которые я выкраивала из рациона других лошадей.

К середине октября пастьбу кончили. Буян кой-как держался на ногах. Ему предоставили месячный отпуск, а потом закрепили за кружком верховой езды. Достался Буян Вите Петрову. Витя был несказанно рад собственной лошади. Сидя в седле, горделиво сверкал глазами и обильно угощал Буяна сахаром до езды, во время езды и после езды. Началась у Буяна не жизнь, а малина. Обласканный невиданным участием, Буян преданно бежал за Витей, а на спине пронесил его, как величайшую драгоценность.

Но однажды в конюшню вбежал Андрей Калинин и страшным голосом закричал:

— Буян Витьку сбросил!

— Как сбросил? — не на шутку испугалась я. — Где?

— Там! Около колонки.

Я выскочила из конюшни, едва не боднув головой Буяна. Витя сидел на нем, уткнувшемся носом в ворота. Сзади маячили на лошадях староста кружка Ира Семенова и Саша Юлдашев, приконвоировавшие Буяна вместе с Витей домой.

— В самом деле сбросил?

— Сбросил... — размазывая слезы, пожаловался Витя. Губы его дрожали.

— Ушибся?

— Нет.

— Так чего плачешь?

Витя не ответил.

— Что, сильно Буян дурил? — обращаюсь к старосте.

— Не очень.

Конечно, не очень! Это для нее, прозанимавшейся с лошадьми четыре года. А каково человеку, который первый месяц в седле?

Витя горько плакал, теребя поводья. Плакал от обиды. Он так хорошо относился к Буяну, а тот — поистине буян — сбросил, неблагодарный!

А виноват был не Буян, виноват был мороз. Термометр показывал ниже тридцати. В такую погоду лошади пытаются согреться в движении. Чем сильнее мороз, тем труднее удержать лошадь. Не следовало Вите в такой мороз седлать Буяна, да разве удержишь мальчишек!

Я отчитала и Буяна. Лошадь не понимает смысла сказанного, но отлично разбирается во всех оттенках интонаций. Пока я говорила, Буян наклонялся к самому моему лицу заиндеветшей мордой: Что теперь, и погреться нельзя? Подумаешь, поиграл немножко!

— Лиши-ка ты его сахару сегодня, — посоветовала я Вите. Витя воспринял это как приказ и сахар унес другим лошадям. На следующий день Буян был ангелом. Сияющий Витя заводил его в конюшню и все приговаривал:

— Буяшка умница. Хороший Буяшка! Хороший...

— Не дурил сегодня?

— Что вы! Наверно, боялся, что опять ему сахару не дам.

Убрав седло сушиться, Витя зашел к Буяну, скормил остатки сахара и попрощался:

— Пока, Буян!

Мальчишки все прощаются с лошадьми, как с лучшими друзьями, обнимают, целуют в звездочку на лбу, прижимаются щекой к щеке. Лошади ждут своих маленьких хозяев, встречают их радостным ржанием. А мне так хочется, чтоб эта трогательная детская дружба с лошадьми никогда не кончалась, чтобы, вырастая, ребята не бросали своих лошадей, не забывали о них, чтобы не говорили «прощай», а только — пока. Пока, Буян! Пока, Гордый, Мимоза, Трагедия!..

## УДАЧА

У Мишки на магнитофонной пленке была записана песня «Удача», и мальчишки, приходя на конюшню, во весь голос орали:

Удача, удача!  
С тобой мы богаче.

Мы действительно стали этой зимой богаче на Удачу. Купили ее на конном заводе и прямо с ипподромных испытаний привезли на конюшню. Теперь, слушая песню, Удача узнавала свою кличку и прыдала ушами.

Привезли Удачу с Минуткой. Приглашая ребят на теоретическое занятие по коневодству, я говорила:

— Присядьте на минутку.

— Мы все не поместимся, — со смехом замечали девчонки, укаывая на Минутку, просовывающую любопытную морду к телеге, которая заменяла нам стол для занятий. Ребята усаживались на скамейки вокруг телеги, я доставала папку с копиями племенных свидетельств, и мы углублялись в изучение родословной наших лошадей, восходя к Алойше, Барсу и Сметанке; одновременно через клички прослеживая путь создания пород, у нас присутствующих.

Удача была дочерью Улыбки, внучкой Лоу Ганновера и Подарка. Характер у нее оказался невозможный. При мизерном росточке была она необыкновенно увертлива и сбрасывала с себя всех без разбору. Сбрасывала седока, шарахаясь от машины, от резкого движения рукой или окрика, от шуршания куртки или... Был бы повод!

Валю Смирнову Удача сбросила без всякой видимой причины. Валя даже испугаться не успела. Никто не видел, как это случилось — она ехала сзади. Оглянулись — лежит. Благо медпункт оказался в нескольких шагах от места падения. Валю отнесли туда, все кружковцы забились в тесное помещение медпункта и охали, наблюдая, как молоденькая фельдшерица Маша обрабатывала ссадины. Валя сидела безвольная, обмякшая, не похожая на себя.

Валю тем же часом отправили в районную больницу. У нее оказалось сотрясение мозга. Мне сказали это по телефону. И еще сказали, что нужно около нее посидеть, подежурить ночь. Нашла машину и уже через полчаса сидела около Валиной кровати.

— Ты меня узнаешь?

Валя долго смотрела широко раскрытым единственным глазом, второй закрылся из-за опухоли, и отрицательно покачала головой:

— Нет, не знаю.

Я совсем пала духом — всю память девчонке отшибло — а она присмотрелась повнимательнее карим своим оком, приподнялась над подушкой и удивленно спросила:

— Вы, Татьяна Николаевна?

Она просто не узнала меня в другой одежде, привыкла ко мне той, конюшенной. Первым ее вопросом было:

— А Удачу поймали?

— Сразу же.

— Расседлали?

— Разумеется.

Пытаюсь выяснить, как все произошло. За два года работы кружка никаких травм, а тут — на тебе, сразу в районную больницу угодила. Валя ничего не помнила: ни как упала, ни как ее подняли, ни как в больнице оказалась. Два часа была без сознания. И теперь, морщась от боли, пыталась разогнуть руку. Кое-как расправила и показала посиневшее от уколов место на сгибе:

— Они уколы делать не умеют! Вену найти не могли.

Мудрено было найти на этой тонкой ручонке вену. Еще мудреней удержать такими руками лошадь, хотя и считается, что в управлении лошадью нужна не сила, а умение.

Валя мужественно признала:

— Я сама виновата.

Это признание было чисто ее личным умозаключением и ответственности за ее здоровье с меня не снимало.

— Вот я завтра покажу Удаче, как не слушаться! — рассмеялась она.

Назавтра Вале вставать не разрешили. В тот же день директор школы запретила школьникам появляться на конюшне. Ребята по этому поводу устроили целый митинг. Прямо с митинга и ринулись в райцентр на попутных лесовозах — в больницу. Быть или не быть

кружку, теперь зависело от Вали, от того, как скоро она поправится.

Ребята плохо представляли, как будут жить без лошадей. Лошади занимали в их жизни столько места, что даже про кошек они по забывчивости говорили:

— У нас скоро кошка ожеребится!

Отношение к лошади — показатель нравственности. Меня радовало, что большинство ребят относится к лошади с душой, тепло. Иногда, подняв палец над головой, кто-нибудь из членов кружка восклицал в избытке чувств от своей только что почищенной, сияющей чистотой лошади:

— Лошадь вызывает эстетическое удовольствие!

А сегодня Лена Мельниченко поглаживала по морде Куму и вздыхала:

— Ах, Кумушка, ты голубушка!

Было отчего вздыхать. Висели в рядок никому больше не нужные, любовно начищенные до блеска наборные уздечки, сушились седла под которыми некому потеть, лошади нетерпеливо толкали мордами своих понурых шефов.

А еще вчера Андрюша Пыхтин сидел на Вьюге, тарахтя, как мотоцикл. Вьюга так привыкла к этим условным знакам, что, стоило ему изобразить звук заводящегося мотоцикла, срывалась с места и неслась, вращая, как пропеллером, коротко подстриженным хвостом. Ребята хохотали до слез, когда увидели этот хвост, отхваченный Андрюшей по глупости по самую репицу. Даже лошади изумленно таранились на этот хвост, и приходилось Вьюге отстаивать свою поруганную честь копытом. А Андрюшке — хоть бы что. Он садился в седло задом наперед, как Иванушка-дурачок, и так ездил по деревне. Потом падал на лошадь плашмя, изображая убитого, и Вьюга везла его рысью к конюшне, болтающего руками и ногами у нее под брюхом.

— Чего ты придураешься? — сердилась Лена Мельниченко.

— А тебе кто не дает? — кипятился Андрей. — Не умеешь ездить, вот и делаешь вид, будто едешь, как умница. Ты так сумей, как я!

Дорога на конюшню проторена детскими ногами так, как ни одна другая в деревне.

Моя участь — воевать с непобедимой, неистошимой на выдумки, горластой оравой, которая снится мне в кошмарных снах единым многоглавым чудовищем, захватившим в плен конюшню. Они вездесуци. Их выпроваживаешь в дверь, — они лезут в окна, закрываешь окна — просачиваются из всех щелей. Выгнать их просто невозможно. Один Андрюша Калинин чего стоит!

Еще вчера догнала Андрея по дороге на конюшню. Он здоровается и спрашивает:

— Показать фокус?

Не дождавшись ответа, восклицает:

— Гоп-ля! — скидывает с головы ушанку и показывает: на дне лежит, излучая золотистый свет, аппетитная баранка. Я с удовольствием смеюсь над наивным фокусом. Андрюша польщен. На конюшне он ко всем пристаёт:

— Показать фокус? Гоп-ля! — и все тоже смеются.

Наконец «фокус» всем надоел, и Андрюша съел баранку на двоих с Мазуркой: сначала сам откусит, потом Мазурка, опять сам...

...Сквозь перебор лошадиных копыт с другого конца конюшни доносится голос Олега Орлова:

— Ира-а!..

Ира не отвечает, ремонтирует седло.

— Семенова-а-а!..

— Чего тебе? — с досадой спрашивает староста.

— У тебя сахару не осталось?

— Опять сахару? — ворчит Ира. — Осталось!

— Дай кусочек.

— Сам покупай! Последний раз даю.

Без сахару на конюшню не ходят. Но Олег забывчив и не собран. Если на конюшне пропали предметы ухода за лошадей, искать их надо непременно в кормушке у Горизонта. Всеми виной забывчивость Олега. И только Олег всегда забывает захватить с собой сахару.

Олег забирает у старосты сахар и выводит Горизонта на улицу. Уводят своих лошадей и другие ребята. Конюшня пустеет. Остаюсь я, Миша и Андрюша Калинин. Андрея наказали. Он разбил в школе четыре лампочки за одну перемену, за это лишен «водительских прав» на лошадь.

— Как ты умудрился, — спрашиваю, — лампочки разбить?

— Нечаянно, — вздыхает Андрей и смотрит снизу вверх невинными чистыми глазами.

— Ничего себе, нечаянно! Запнулся за них, что ли?

Он мог и запнуться. Такие и по потолку пройдут, как по полу. Андрюша бесшумно исчезает. Через минуту с улицы раздается вопль:

— Татьяна Николаевна! Андрюшка у нас лошадь забрал!

Это подготовительная группа сигнал «SOS» подает. Иду разбираться. Андрюша уже «смылся», а Майку пытаются оседлать сразу четверо.

Возвращаюсь в конюшню. Миша чистит в проходе Мимозу. Кобыла жеребая, ездить на ней нельзя. Ухаживать можно. Даже необходимо. Последние дни Миша ухаживает за ней особенно рьяно.

Когда привезли с ипподрома Удачу, единственное дите нашей несравненной Улыбки, Миша обрадовался и все свое внимание сосредоточил на новенькой, сшил ей за один вечер уздечку, подогнал седло, проминал каждый день. Мимоза возревновала. Когда Миша подходил к ней, она демонстративно отворачивалась, пыталась

куснуть или достать копытом, чего раньше за ней отродясь не водилось.

— Мам, чего это она? — недоумевал Миша.

— Обиделась.

От Миши пахло незнакомой лошадей, а чужих в табуне не любят. А может, и впрямь Мимоза ревновала? Миша решил не обижать ее больше своим невниманием, отказался от Удачи и теперь с удвоенной нежностью надраивал свою верную Мимозу, которая никому больше с такой преданной готовностью не подчинялась. Мимоза простила измену. Отходчивое сердце у лошади.

Мимозу чистить Мишка начинает снизу, с ног. Потом скребет бока, расчесывает гриву и хвост, после садится на лошадь задом наперед и надраивает круп. Мимозе это не нравится. Она терпеть не может, когда касаются крупа, поэтому бьет в воздух попеременно то одной, то другой ногой, или подкидывает задом, отчего Мишка то и дело сползает на холку.

— Ах ты, нехорошая лошадь! — ласково выговаривает он ей и покровительственно добавляет:

— Ничего, потерпишь!

В конюшне тихо. Так тихо здесь бывает редко, разве что в часы утреннего кормления. И вдруг я замечаю безмолвно сидящего на понуры Мазурке Андрюшу. Он всегда так «отбывает» свой срок наказания, пока ребята ездят верхом. Вероятно, это сидение на неподвижной лошади заменяет ему езду. Но Мазурке не заменяет. Ей скучно. И хочется побегать. Она тоскливо ржет, услышав цокот копыт на дороге за конюшней.

Андрюше девять лет. Он уже три года занимается верховой ездой. Началось его увлечение лошадьми рано. Гораздо раньше, чем у других ребят.

Однажды четыре года назад к нам в квартиру долго скреблись, дверь не без усилия открылась, и на порог взобрался, иначе не назовешь, серьезный человек пяти лет от роду, Андрей Калинин. Он шаркнул рукавицей под носом и спросил:

— Дилектор дома?

Голос у него был басовитый, с претензией на солидность.

Я притворилась за гостем дверь, не по силам она ему оказалась, и поинтересовалась, зачем ему директор.

— Пусть записку напишет. Дядя Гена (конюх) сказал, что без ласпо... ласпо-ля-жения лошадь не даст.

— Какую лошадь?

— Машку.

— Ты же свалишься с нее!

— Не свалюсь! Я так в гливу вцеплюсь!..

— Нет директора дома.

— Тогда вы напишите.

— Мое распоряжение недействительно, — схитрила я.

— Ну, я завтла еще плиду.

Андрей натянул большие свои рукавицы, по ошибке взятые у брата. На братьев ему повезло, их у него четыре, и все — старшие.

Лошадь ему в тот раз, конечно, не дали, мал еще, только посмеялись над шуткой конюха, но уже через несколько месяцев я увидела Андрея сидящим на Горизонте. Старший брат Сергей, проминая жеребца, дал прокатиться. А через год Андрей справлялся с любой лошастью, разве что заседлать сам не мог — не доставал.

Андрею сделали исключение и по его просьбе записали в кружок верховой езды, минуя подготовительную группу. Уж очень он рвался к лошади. Для начала дали самую маленькую лошадку — только что обученного Зенита. Жеребенок был неказист, но смирен. Старшие ребята презрительно обзывали его хилияком. На пробежке лошади дружно обгоняли Зенита, а он только ржал вслед жалобно, с визгливыми страдальческими нотками. Зенит и подрост, а ржать по-взрослому так и не научился.

Такая езда, все время сзади, скоро стала разочаровывать Андрея, и в третьем классе он попросил «что-нибудь посерьезнее».

На ближайшем занятии кружка рассмотрели этот вопрос — какую дать Андрею лошадь.

В кружке самоуправление. Все вопросы, связанные с распределением лошадей, с приемом в кружок новых ребят, с изменением распорядка работы кружка, лишением «прав» на лошадь, решаются общим собранием. В случае отсутствия руководителя кружка его роль исполняет староста. В качестве тренеров и инструкторов младших ребят выступают старшие, прозанимавшиеся в кружке три-четыре года. Самоуправление в кружке себя полностью оправдывает. А почему бы и нет?

В школьном кабинете истории висит на стене черным по белому написанный плакат, что пятиклассник должен уметь «определять классовые интересы масс», «самостоятельно формулировать несложные выводы», «уметь дать характеристику исторического деятеля», почему же нужно сомневаться, что, имея такие навыки, подростки не найдут управу на самих себя? Ребят в кружке не так уж много. Но зато это целая обособленная республика, объединенная одним флагом — флагом любви к лошади.

Однако вернемся к Андрею. На собрании решили дать ему Мазурку. У Мазурки уже был опыт работы с маленькими седоками. Одно время на ней постигал азы верховой езды Леша Васильев, самый маленький в школе человек. Он не доставал до головы Мазурки и выдрессировал ее таким образом, что она стала опускать по требованию голову к самому полу и терпеливо ждала, когда ее взнуздают.

Человек, подружившийся с лошастью в детстве и позже не обидит ни одно животное. Лошадь для детей не просто прогулки на свежем

воздухе, хороший аппетит после прогулки. Лошадь развивает ловкость, смелость, быстроту реакции и массу других положительных качеств. Наконец лошадь — это просто нехитрое развлечение для деревенского подростка, не избалованного развлечениями вообще.

И вот, всем враз, доступ к лошади оказался закрыт. Это была трагедия. Я собрала ребят последний раз, повторяли правила техники безопасности и разбирали причины Валиного падения. Передо мной сидели одни девочки, мальчишки тем временем штурмом брали районную больницу, прорываясь к Валентине. Их не пускали. На двери висела табличка: «В связи с эпидемией гриппа посещение больных запрещено». У них не было гриппа, и они настойчиво добивались свидания. И их пропустили.

Валя чувствовала себя отлично. Обрадованные мальчишки вышли из больницы и направились в книжный магазин, где проиграли в книжную лотерею все свои сбережения, выиграли пять рублей на пятерых и пятью голосами постановили купить на эту сумму книгу с цветными иллюстрациями и подарить ее Валентине. С подарком побежали в больницу, ворвались в палату без халатов, без разрешения, и все враз. Их выдворили. Но теперь это было не страшно. Подарок был вручен.

А на следующий день, тайком от учителей, хоронясь за сугробами, задворками мы выбрались из деревни и окольными, безлюдными путями, стараясь не попадаться никому на глаза, направились в дальние деревни собирать экспонаты для музея краеведения, который намеревались открыть на днях. Это был наш «ход конем» в борьбе за интересы лошадей и подростков. Все экспонаты собрали члены кружка и теперь дарили эту коллекцию односельчанам. Маневр этот не мог не смягчить отношения взрослых к кружку, испорченного из-за неудачного падения неосторожной пятиклассницы.

Для музея доставало всего нескольких элементов домашней «поточной линии» по выработке льняных тканей. Недоставало самого главного: деревенского ткацкого станка — стана, как его здесь называют, — который в начале столетия был обязательной принадлежностью каждой крестьянской семьи, а теперь стал такой редкостью, что и для музея добыть не просто. Стан такой сохранился, по слухам, в Лапунове. За ним и ехали мы теперь, запрягши в сани Куму, в сопровождении почетного эскорта верховых.

## СОПЕРНИКИ

Я сидела на кипе сена, колени мои предательски тряслись, и от этого руки на коленях часто-часто подпрыгивали. Хорошо еще, трусливая дрожь пришла после, а не во время схватки...

Всего каких-то пять минут назад я бежала сломя голову к конюшне, перепрыгивая через колени и канавы, туда, откуда раздавалось такое, словно непрерывно из пушек палили.

— Что там у тебя? — со смехом кричали доярки от фермы. — Вся конюшня ходуном ходит.

Ясно что! Гордый на волю вырвался!

Гордый совершенно справедливо считал себя хозяином конюшни, вернее — хозяином гарема. За Горизонта только его дочек сватали. Но это не мешало Гордому сгорать от ревности. А ревновать было из-за чего. Кобылам надоело долгими зимними ночами стоять взаперти, правдами и неправдами они ухищрялись открывать запоры, и ночью то одна, то другая принимались разгуливать по проходу. Возле денника Ланолина они трусливо поджимали хвосты и старались миновать этот участок прохода одним скачком. Ланолин, его косматое величество, издавал страшный рев, мало походивший на ржание. Гордый, завидев странствующей одну из своих подружек, вставал гневно на дыбы и окликал с нотками приказа в голосе, стараясь при этом максимально высунуться в проход поверх кормушки. Кобыла устремлялась мимо виноватой трусцой, с каким-то вызовом встряхивая гривой. Каждую из них словно магнитом тянуло в самый конец коридора, где располагался денник Горизонта.

Горизонт поджарой своей стройностью напоминал скорее ахалтекинца, нежели рысака: изящный, тонконогий, с аристократической, изысканной легкости головой на длинной шее: само благородство, утонченность манер и верх благовоспитанности. За кобылками он ухаживал галантно, никогда не взвизгивал капризно, как Гордый, не топал сердито ногой, — он встречал беглянок со сдержанной благосклонностью. Укрощая в себе прорывавшуюся страсть, обнюхивал подругу — ноздри в ноздри, уступал ей в кормушке недоеденный овес и терпеливо ожидал, пока та не соберет все, до последнего зернышка. А зерно у него всегда было припасено, потому что он не торопился, как другие, скорее покончить с ним — ел аккуратно, не спеша, то отходя от кормушки, то снова к ней возвращаясь.

Неизвестно, что больше привлекало кобыл, сам Горизонт или его овес, тем не менее Гордый считал жеребца своим заклятым врагом и при всяком удобном случае старался свести с ним счеты. Иногда ему это удавалось. Если б всякий раз рядом не оказывались люди, давно бы не мерить Горизонту совхозных дорог своей легкой, летящей рысью.

Однажды, после занятий кружка, я разрешила подросткам поиграть на лошадях в казаки-разбойники. И надо было так случиться, что в игре за углом нежилого дома столкнулись два врага — Гордый с Горизонтом. Всего мгновение потребовалось Гордому на сборы. Чего тут раздумывать? Когда еще доведется так вот встретиться — носом к носу! Он весь подобрался, сжался, как пружина,

скинул с себя Иру Семенову, аккуратно выбил копытом из седла Горизонта Лешу Васильева...

Некоторое время соперники стояли один против другого, взвись на дыбы, потом столкнулись в ярости. С кошачьим проворством Леша не то отползал, не то отбегал, помогая себе руками, от места побоища. Кто-то из ребят бросился разнимать схватившихся жеребцов верхом на Вьюге. Вьюга, неверная Вьюга, проведшая не одну ночь подле Горизонта, под покровом ночи поглотившая не одну порцию его законного овса, вдруг встала на сторону Гордого и нанесла предательский удар. Горизонт пошатнулся, однако на ногах устоял. Вьюга вошла в азарт и норовила достать дружка зубами и копытами, больших усилий стоило отогнать ее от дерущихся.

Ярость Гордого не имела предела. Казалось, силы его не убывали, а прибывали. Горизонт попытался спастись бегством, но соперник настиг его, сбил с ног, какой-то хищной, не лошадиной хваткой впился зубами в горло и душил, не забывая при этом наносить удары. Распластанный Горизонт хрипел и задыхался.

Вконец освирепевшего, ослепленного ненавистью, содрогающегося Гордого оттащили от поверженного. Случись это минутой позже, Горизонт навсегда остался бы лежать в пожухлой осенней траве.

Горизонту помогли подняться, привели на конюшню, окровавленного, пошатывающегося, жалкого. Гордый бодро отфыркивался в своем деннике, словно после утренней прогулки, и косил налитым кровью глазом в сторону неприятеля.

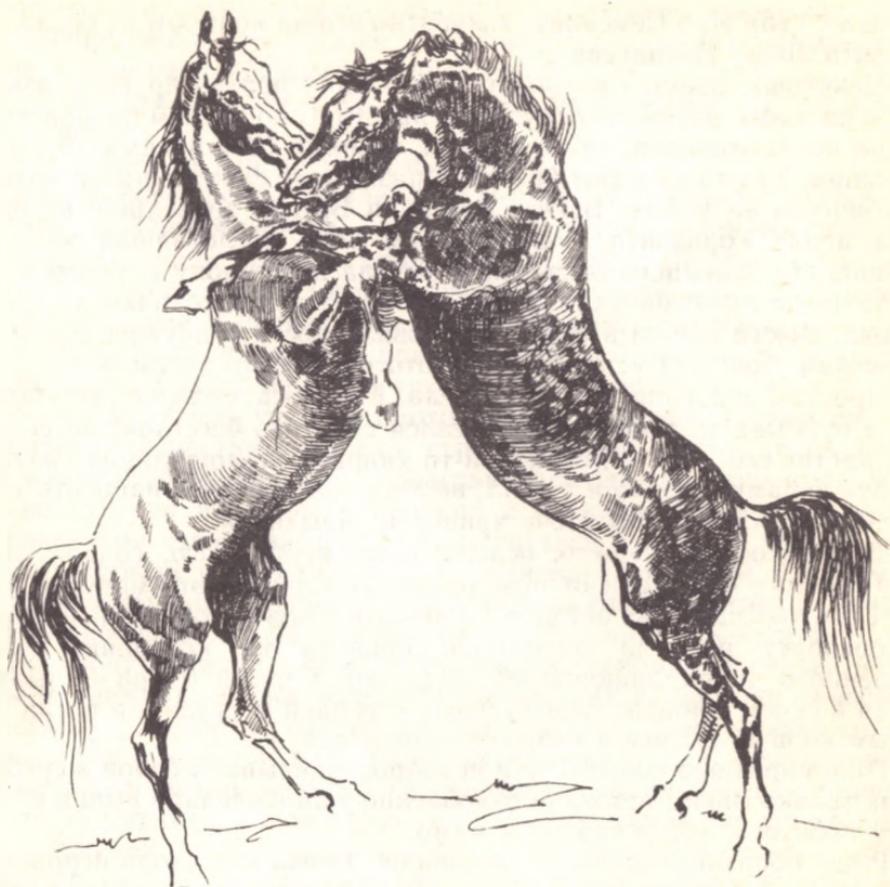
Присмиревшие кобылы, чуя недоброе, закрывали собой жеребят. Одна только Вьюга прижала озлобленно уши и сделала выпад в сторону побитого, когда его вели мимо.

Раны Горизонта долго не заживали. Отеки и опухоли испортили его изящную фигуру. Прошло несколько месяцев, пока он поправился, и вот — опять этот шум на конюшне, который иначе и истолковать нельзя, как очередную схватку.

...Прибежала вовремя. Гордый уже разнес в щепу кормушку Горизонта, искромсанная дверь валялась на полу. Не имеющий путей к отступлению, зажатый в угол Горизонт неистово отбивался. К жеребцам было невозможно подступить. С трудом проскочила под танцующим задом Гордого, повисла на недоуздке...

Уже за воротами конюшни, привязанный к столбу, Гордый и на столб кидался, как на врага, впиваясь зубами и молотя копытами. А я сидела рядом и не могла унять предательской дрожи и злых слез: не живется им мирно! И кто придумал — право на подругу завоевывать в драке? Срам какой!

Возбужденные кобылы топтали в клетках. Ланолин с хлопотливой расторопностью бегал по деннику, время от времени высовываясь в проход и недоуменно поглядывая то на дверь, за которую вывели Гордого, то на искусанного Горизонта, который боялся вы-



глядеть из своего угла. По великодушью своему Ланолин и Горизонта считал едва ли не своим братом, и Гордого — лучшим другом. Его жеребцы в свои междоусобицы не посвящали, сам он тоже никогда не задибался. Ланолин не знал, стоит ли, допустим, Кума такой яростной борьбы? Наверное, стоит, но... Зачем же драться? Все равно человек распорядится по-своему.

\* \* \*

Человек и распорядился по-своему. В совхоз приехала новенькая, зоотехник Света Лебедева, выпускница института — не девушка, а само очарование. Глаза небесной сини, белая коса до пояса. При распределении она попросилась в хозяйство, где есть лошади. Она любила, но не лошадей, нет, — верховую езду. Прекрасная амазонка облюбовала Гордого. После очередной скачки по несусветным трак-

торным колеям (хотелось покрасоваться перед проходящими мимо молодцами) привела Гордого на трех ногах. Травма оказалась неизлечимой, что и определило дальнейшую участь жеребца.

Горизонту также не повезло. Его продали в соседний колхоз. Позже, работая в редакции районной газеты, я навестила бывшего своего подопечного в том колхозе. Он стоял на ферме, привязанный на цепь, в одном ряду с коровами. Спина его была настолько сбита седлом, что белая, будто обглоданная, кость позвоночника выпира-ла из выболевшего места, над подсыхающей раной. Гноящуюся рану облепили мухи. Обнаженная сухая кость их не привлекала и как-то по особому жутко белела на фоне черного скопища насекомых на ране.

Мы с подругой, тоже сотрудницей газеты, нарвали возле фермы листьев тысячелистника, присыпали рану. Слабое утешение!

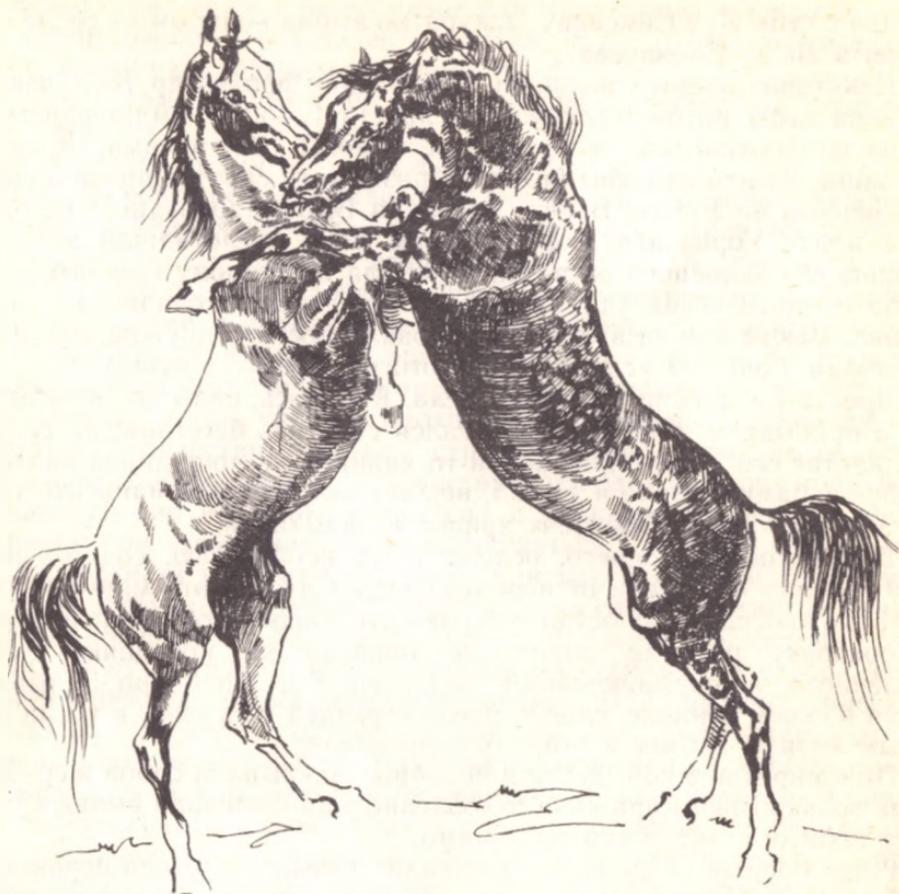
Вымученный взгляд жеребца провожал нас с фермы. Горизонт порывался пойти следом, но цепь не пускала. Он был продан. Я не имела больше на него прав. Сознание собственного бессилия убивало.

Конечно, я нашла зоотехника и председателя колхоза, но не уверена, что мое вмешательство хоть сколько-нибудь облегчило его участь.

Часто бываю я и на «своей» конюшне, к неудовольствию нового конюха. Конюшню принял Бутин Алексей, парень, впервые увидевший лошадь только с приходом на конюшню, к тому же тугодум и упрямец. Он не желает слушать никаких советов, не желает знать никаких правил пользования лошадьми и ухода за ними. Когда я пытаюсь достучаться до его сердца, он огрызается: «Не твоё дело!» — и продолжает делать по-своему. Никакого распорядка дня новый конюх не признает. Разбирают лошадей с конюшни чаще всего некормленных — хозяин поспать любит. Когда ругаю его за плохое кормление, он возмущается несправедливостью упреков: «Всего-то два дня сена не давал!»

Нерадивый до кормления, в езде он не испытывает жалости к лошадам. С группой подростков они проносятся сельской улицей на взмысленных лошадях, и я загораюсь тихой ненавистью к этим мальчишкам, не знающим жалости, и к конюху, не желающему их одернуть, да и себя тоже. Кружка верховой езды, как такового, больше не существует. Осталось одно неразумное верховое баловство.

Голодную лошадь загнать просто. Одну за другой запалили пленных конематок, над которыми я дрожала, как над главной ценностью конюшни. Первой испортили Удачу. Загнала ее та самая Валя Смирнова, которая когда-то так неудачно упала с нее, — словно в отместку. То, что я четыре года терпеливо прививала подросткам на занятиях кружка, — любовь к лошади и бережное к ней отношение — все как-то враз оказалось забыто.



глянуть из своего угла. По великодушью своему Ланолин и Горизонта считал едва ли не своим братом, и Гордого — лучшим другом. Его жеребцы в свои междоусобицы не посвящали, сам он тоже никогда не задибался. Ланолин не знал, стоит ли, допустим, Кума такой яростной борьбы? Наверное, стоит, но... Зачем же драться? Все равно человек распорядится по-своему.

\* \* \*

Человек и распорядился по-своему. В совхоз приехала новенькая, зоотехник Света Лебедева, выпускница института — не девушка, а само очарование. Глаза небесной сини, белая коса до пояса. При распределении она попросилась в хозяйство, где есть лошади. Она любила, но не лошадей, нет, — верховую езду. Прекрасная амазонка облюбовала Гордого. После очередной скачки по несусветным трак-

торным колеям (хотелось покрасоваться перед проходящими мимо молодцами) привела Гордого на трех ногах. Травма оказалась неизлечимой, что и определило дальнейшую участь жеребца.

Горизонту также не повезло. Его продали в соседний колхоз. Позже, работая в редакции районной газеты, я навестила бывшего своего подопечного в том колхозе. Он стоял на ферме, привязанный на цепь, в одном ряду с коровами. Спина его была настолько сбита седлом, что белая, будто обглоданная, кость позвоночника выпирала из выболевшего места, над подсыхающей раной. Гноящуюся рану облепили мухи. Обнаженная сухая кость их не привлекала и как-то по особому жутко белела на фоне черного скопища насекомых на ране.

Мы с подругой, тоже сотрудницей газеты, нарвали возле фермы листьев тысячелистника, присыпали рану. Слабое утешение!

Вымученный взгляд жеребца провожал нас с фермы. Горизонт порывался пойти следом, но цепь не пускала. Он был продан. Я не имела больше на него прав. Сознание собственного бессилия убивало.

Конечно, я нашла зоотехника и председателя колхоза, но не уверена, что мое вмешательство хоть сколько-нибудь облегчило его участь.

Часто бываю я и на «своей» конюшне, к неудовольствию нового конюха. Конюшню принял Бутин Алексей, парень, впервые увидевший лошадь только с приходом на конюшню, к тому же тугодум и упрямец. Он не желает слушать никаких советов, не желает знать никаких правил пользования лошадьми и ухода за ними. Когда я пытаюсь достучаться до его сердца, он огрызается: «Не твое дело!» — и продолжает делать по-своему. Никакого распорядка дня новый конюх не признает. Разбирают лошадей с конюшни чаще всего некормленных — хозяин поспать любит. Когда ругаю его за плохое кормление, он возмущается несправедливостью упреков: «Всего-то два дня сена не давал!»

Нерадивый до кормления, в езде он не испытывает жалости к лошадям. С группой подростков они проносятся сельской улицей на взмыленных лошадях, и я загораюсь тихой ненавистью к этим мальчишкам, не знающим жалости, и к конюху, не желающему их одернуть, да и себя тоже. Кружка верховой езды, как такового, больше не существует. Осталось одно неразумное верховое баловство.

Голодную лошадь загнать просто. Одну за другой запалили плеченных конематок, над которыми я дрожала, как над главной ценностью конюшни. Первой испортили Удачу. Загнала ее та самая Валя Смирнова, которая когда-то так неудачно упала с нее, — словно в отместку. То, что я четыре года терпеливо прививала подросткам на занятиях кружка, — любовь к лошади и бережное к ней отношение — все как-то враз оказалось забыто.

Время от времени я появляюсь на конюшне, вывешиваю на видном месте правила техники безопасности, ухода и эксплуатации лошади — их неизменно срывают, как ненужные.

Конюшня стала моей незатихающей болью и бессонницей, а трагедия лошадей — моей трагедией. Удача превратилась в живой скелет. Она ожеребилась, и при скудном, к тому же нерегулярном кормлении расходует себя на то, чтоб выпить молоком жеребенка. От слабости у нее развилась сердечная недостаточность. У нее едва хватает сил, чтоб подняться на ноги, и почти недостает их, чтоб жевать скупую дачу сена.

Мазурку загнали до непроходящей мышечной дрожи. Ласковое это существо не умеет сопротивляться, и ее седлают чаще других.

Сильно похудевшего Буяна конюх использует в запряжке. Я с состраданием смотрю на его понурую фигуру: дуга сваливается набок, и без того тесный хомут развернулся и душит. Он проходит улицей, таща за собой сани, весь мокрый от слабости и прилежания.

Трагедия и Вьюга научились кусаться и отбивать попытки взять их в стойле, но это их мало спасает.

Хуже всего то, что я ничем теперь, после ухода из совхоза, не могу помочь лошадям. Когда вступаю за них, меня с неудовольствием выслушивают, и от этого ровным счетом ничего не меняется. А чаще говорят: «Кому нужны твои лошади!»

Я начинаю горячо убеждать, что будущее — за биотранспортом; арендный подряд возродит лошадей, экологически чистое производство возможно только при лошади... Но все это — глас вопиющего в пустыне. Однако я не сдаюсь. И мои помощники, бывшие кружковцы, тоже. Учится на ветеринара и намерена вернуться в совхоз бывшая староста кружка Ира Семенова, часто навещает лошадей, помогает с доставкой кормов на конюшню ставший механизатором Леша Васильев. Не забывают лошадей и другие бывшие кружковцы. Мы верим — лошадь не может уйти. Нам снится ветер в летящих в лицо гривах, но еще чаще — выразительные лошадиные глаза. И горечь в них, к сожалению, не придумана нами...



## РАССКАЗЫ

### ТРОЙКА

От немилосердной тряски вожжи в Валеркиных руках плясали, словно он держал не вожжи, а пулемет. Валерка и не подозревал, что сотни раз искоженная им деревенская улица столь неровна. Телега оглушительно тарыхтела, кони храпели, куры с диким кудахтаньем уносились прочь.

У левой пристяжной лопнула постромка, валик подпрыгивал и бил ей по ногам. Обезумевшая, разом взопревшая лошадь изо всех сил рвалась вперед, стараясь бегством спастись от свалившейся напасти. Коренник Фомка, он же Председательский Выездной, краса и гордость конюшни, вращал налитыми кровью глазами, ронял пену с оскаленной, задранной под самую дугу морды — была-таки сила в Валеркиных руках! — но остановить его и Валеркина сила уже не могла: пристяжные очумело несли, шлея больно впивалась в мышцы фомкиного зада, напирала, влекла...

Валеркин братишка, шестиклассник Павлик изо всех сил, почти опрокинувшись от усилия навзничь, тащил на себя свою единственную вожжу — левой пристяжной, брюхатой кобылы Оплошки. Оплошка бежала на отлете, спасаясь от неистово грохочущей телеги и жеребца, на губах которого появилась кровавая пена, словно рот его раскалился докрасна, но явных попыток оторваться, не в пример другой пристяжной, не делала. Это была ко всему привычная, много поработавшая лошадь. На бегу она осторожно ставила короткие ноги — береглась, щадя будущего жеребенка.

Пашкин дружок и одноклассник Семка бросил вожжу другой пристяжной и трусливо, обеими руками, пытался зацепиться за неровности на телеге, но телега уходила куда-то, ускользала, как палуба корабля, попавшего в шторм. Наконец ему удалось сесть. Но тут порвалась вожжа у коренника, и Валерка заорал:

— Полундра! Спасайсь, кто может!

Семку с телеги словно ветром сдуло. Павлик все еще тянул свою вожжу, но глухо хрястнуло отломившееся колесо, телега накренилась, и Павлик вылетел на дорогу. Вожжу он неосторожно намотал на руку и кони тащили его по пыли, пока вожжа не соскочила, ободрав запястье.

Валерка оглянулся на подымающегося из пыли брата и вдруг тоже почувствовал, что летит. Состояние полета показалось упонительно-жутким. Боль от падения и крапивные ожоги были ничто по сравнению с этим отчетливым ужасом.

Поднявшись, Валерка сунулся в калитку ближайшего дома, по картофельнику выбежал за околицу, намереваясь броситься к дороге, наперерез лошадям, но махнул рукой: дальше кони не убегут! — отряхнулся и не спеша зашагал к конюшне. Поначалу он испугался: не подавили бы кони мальчика какого, но потом вспомнил, что вылетел из телеги возле последних домов и поддавить там просто некого — сенокос, деревня пуста, хоть шаром покати.

А ведь все шло так хорошо! Тройка как-то с первого разу заладилась, Валерка даже не ожидал такой удачи, расслабился от первоначального ожидания борьбы с лошадьми. Коренник шел сдержанной рысью, пофыркивая горделиво и поглядывая на Загадку, молодую вороную кобылку справа. Загадка шла испуганными короткими скачками, которые вполне могли сойти за галоп — а пристяжной и положено идти галопом. Оплошка прилежно налегала на хомут, она вообще отличалась особой старательностью, за нее Валерка беспокоился меньше всего. Больше всего он боялся за Фомку. Жеребец застоялся и мог выкинуть какую-нибудь дурость от желания поразмяться. Но у Фомки было сначала только одно желание — позаигрывать с Загадкой, потом он и от этого желания отказался: Загадка льнула боком к самой оглобле, того гляди переломит. Потом и Загадка уразумела, что от нее требуется, пошла мелкой спорой рысью, отворотив голову от коренника, как и требовалось.

Тройка пошла красиво и не шибко, прямо загляденье. Валерка боялся погонять, осторожничал. Объехали вокруг конюшни, прошли по лугу, лошади послушно развернулись, легко зарысили полевой дорогой. Ветер с готовностью подхватывал пыль, сносил ее в сторону, она не досаждала ни коням, ни людям. Езда во всех отношениях была приятной, а больше всего оттого, что Валерка торжествовал свою победу: затея с тройкой удалась! Его распирала гордость. Хотелось тройку показать всей деревне: вот на что Валерка способен!

— Идут, как часики! — подмигнул он своим помощникам. — Махнем в деревню? А то ведь тройку живую никто не видывал.

— Махнем! — загорелся обрядованно Семка. Павлик рассудительно промолчал. Он вообще никогда не спешил высказывать свое мнение, все взвешивал: сколько «за», сколько «против». У него, по словам учителей, были исключительные математические способности, верно от этого он был такой серьезный, не в пример Валерке.

На деревенской улице лошади начали нервничать. Собаки кидались под самые копыта, чуть на мордах у коней не повисали, исходя лаем...

Возле председательского дома стояла легковушка. Председатель, видимо, собрался куда-то ехать, уже сидел за рулем. Коренник вдруг встал как вкопанный перед машиной, будто опешил.

Валерка улыбнулся застенчиво и гордо, председатель тоже в ответ улыбнулся сдержанно-одобрительно, — тройка пришлась ему по душе, — и совсем чуть-чуть, вроде как поздравить хотел, по-сигналил.

Загадка, ближняя к машине, рванула сразу, порвала постромку, и больше Валерка тройку удержать не мог. Ураганом пронеслась она по улице, ураганом, который и прибил Валерку к пыльным лопухам.

Валерка шел на конюшню, прихрамывая и поминутно оглядываясь, но лошадей видно не было. Навстречу им идти было ни к чему, он знал — лошади придут сами. Всякая лошадь к конюшне привязана.

Возле конюшни под навесом Валерка сел на сани, тяжелые и грубые, в которых Митрич обучал лошадей: неловки, зато крепки. Руки его противно дрожали, он нервно крошил в пальцах соломинку. И стыдно было, и горько, и тягостно от мысли, что вся деревня его позор видела. «Ну кто — вся деревня! — пытался успокоить он себя. — Старухи да мальцы. И те через окно, мельком. Вон как несли, лешие!» Теперь он переживал за коней: не покалечились бы. Попадет от Митрича.

Конюшню Митрич передал Валерке всю враз одной фразой:  
— Вот телега, вот хомуты, вот вилы с осиновым чернем, для легкости, вожжи на гвозде, лошади — в стойлах, овес — в ларе. Вопросы будут?

Вопросов не было. Тогда Митрич подошел к деннику Оплошки, потрепал по морде, сказал простительно:

— Береги ее. Кобыла — вещь. Хорошая кобыла. Работящая. И матка хорошая. Она тебе столько Председательских Выездных нарожает, никаких председателей не хватит. Не смотри, что в возрасте. Она еще ничего. Потянет. И вообще — всех береги. Как я их уберег, рассказать — книги не хватит. Да и на этих, последних, косо поглядывают: может и их, того... Так ты не позволяй.

Митричу тяжело было уходить с конюшни, он любил лошадей

непроходящей любовью, к тому же знал, что проку от нового конюха будет мало. Спросил без обиняков.

— Они что, посерьезней никого не могли найти?

— Дак ведь... Пока я до армии работаю, время есть, найдут.

— Временный, значит, — еще больше огорчился старик. — Скоро в армию-то?

— Пора уже. Может, через месяц, может, через пять. Кто знает.

— Ну ладно, поговорю я с председателем... Можно на худой конец бабу поставить. Бабы даже заботливее.

Словно извиняясь за свою жалость к лошадям, он поделился:

— Скажу по секрету... Ты думаешь, колхозные это лошади? И все так считают. А они мои. Мои, сынок! Все, кроме Фомки. Этот покупной. Ну, Оплошку ты знаешь! Ее вся деревня знает. Так вот мать Оплошки, Муху, я свел из дому на колхозную конюшню своими руками, когда колхоз организовывали. Она тогда совсем молодая была. И я молодой. Сам попросился, чтоб конюхом поставили. Муху жалел. Не верил, что другой человек о ней лучше меня позаботится... Душой прирос. Кобыла была, скажу тебе — из всех. А потом состарилась, сдать приказали. А как сдать? Она мне как человек. Ну и обманул я председателя. Оплошка, говорю, вышла. Жеребая кобыла. А он не верит. Смеется. В ее-то возрасте, говорит, уже не о жеребце мечтают. Убиваюсь, спорю — жеребая! А сам жеребца-то уж потом подпустил, чтоб ложь не вышла. Сам не верил, что понесет кобыла, стара была. Она и обошлась. Будто меня оправдать хотела.

Председатель все, бывало, шутил: «Ну, что твоя Оплошка больно долго жеребенком не становится?». «Перехаживает», — говорю. «Полгода перехаживает?» — «А срок с ней. Зато жеребенок будет — клад». Вот и народилась Оплошка. Клад кобыла. А это все, — он повел глазом в сторону денников, — дети Оплошки. Берег, как мог. Жалел. Мои они, понимаешь? Ведь мы Муху-то в колхоз бесплатно отдали. Никто не знает, как я переживал, когда в чужие руки на работу ее отдавал. И вот... Других лошадей не уберег, полномочий не хватило, а своих отстоял. Кого ложью, кого лестью, кого скандалом, кого как. А сколько зазря пропало! Разве одна Оплошка у Мухи была? Оплошка — последняя. А до нее еще десятка два было. Я тебе про каждого, от рождения до смерти, всю историю могу рассказать, и историю детей их, до десятого колена. А истории разные были. Рабочая лошадь — она рабочая и есть. К ней и отношение... Скотина, одним словом. А лошадь — что человек, только что сказать не может, все понимает. Скотов среди людей больше, чем меж лошадей. Жалел я лошадей. Себя так не жалею. Уж восемь лет, как на пенсии, а все работаю. В чужие руки отдать жалко. Теперь уж здоровья не стало... Вот и ты жалеи. Хотя бы не так,

как я, хотя поменьше. А я изредка их навешать буду. Ты уж не сердчай. Вся родня у меня тут. Если когда и поскриплю по-стариковски, поучу тому-этому, не обижайся. Я ведь про лошадь больше знаю, чем сама она про себя.

Валерка как-то быстро привык к лошадям. У каждой был свой характер, к каждой был нужен особый подход. Одна резвая, но с норовом; другая трусливая и слабохарактерная — прикрикнешь, глядь — шелковая стала; третья — старательная, как Оплошка; четвертая драчливая, пятая... Валерка быстро постиг немудреные их характеры. Одна Загадка, что ни день, выкидывала новые штучки. Одним словом, загадка, а не лошадь. А Фомка хоть и грозен с виду, а на деле — протак: Фомка и есть. Вот только Оплошке кличка никак не соответствовала. Толковая лошадь. Ум — как у человека. Неопытный Валерка сам это постиг. Приняв конюшню, первым делом стал учиться ездить верхом. Начал с Оплошки — самая смиренная. Свалится, бывало, так Оплошка подойдет, дышит в лицо, как на своего жеребенка. Жалее. Вот тебе и лошадь. Не всякий человек такое сердце имеет.



Лошади показались совсем не с той стороны, откуда их ждал Валерка. Они, верно, развернулись и еще раз прошлись деревенской улицей, теперь в обратном направлении — к конюшне. Фомка трусил не спеша, влача за собой жалкие остатки телеги. Оглобли, к счастью, оказались целы. Оплошка помогала ему, как могла: тянула за единственную сохранившуюся постромку.

Притихшая Загадка оторвалась совсем и, прихрамывая, плелась сзади, пугливо кося глазом на царапающий пыль валик.

Валерка выпряг коней и поставил в конюшню. Снова сел на старые сани под навесом. Домой идти не хотелось. Нервная дрожь прошла, но неприятная тяжесть на душе становилась все отчетливей. Разочарование, досада, злость на себя и лошадей — все перемешалось, то одно торжествовало, то другое — к тому же люди видели...

Павлик прикатил тележное колесо и сел рядом с братом, пытаясь застегнуть разорванную на пузе рубаху.

— Мамка ругаться будет, — сказал он, сунув руку в прореху и трогая саднивший живот.

— А ты не показывай. Переоденься — и все.

— Заметит. Ее не обманешь.

— Тогда на меня вали — я виноват.

— Да не-е... Я сам виноват. Вожжу-то на руку намотал, дурак.

— Факт, дурак! Я же тебя инструктировал по технике безопасности. Инструктировал?

— Говорил.

— Значит, я за тебя не отвечаю. За царапины на пузе отвечай сам. А за рубаху — я. Потому как рубаха — материальная ответственность, а ты — несовершеннолетний.

— А здорово было!... — на губах Пашки появилась мечтательная улыбка. — Как они пошли! Мне так понравилось... Я же первый раз.

— И я — первый, — вздохнул Валерка. — Людям тройку, как диво, думал показать. Сколько времени на упряжь потратил, вместо того чтоб матери с сенокосом помочь. И все — зря.

Братья помолчали, думая каждый о своем.

— И какой русский не любит быстрой езды! — с пафосом, но невпопад продекламировал Павлик.

Валерка смерил его уничтожающим взглядом:

— После такой быстрой езды людям показаться стыдно. Засмеют!

— Да никто и не видел. Вот курицу чью-то задавили — это да, попадет.

— А ты не сказывай.

— Я — что. Вон Семка... Свидетель. Со страху домой убежал. Через курицу отыграется. Он такой!..

— Зачем же дружишь? Плюнь, раз такой.  
— Не с кем больше.  
— Смотри, мать бежит. Скинь рубаху. Будто загораешь. Давай сюда, в сено. Да спиной, спиной загорай! Выпятил свои царяпины!

Мать бежала тяжело, размахивая на бегу головным платком, которым то и дело вытирала пот и слезы.

— Живы, паразиты окаянные? Все-то нервы мне истрепали! Кой черт вас дернул?.. Да кто же в такую жару?.. Слепня столько! А ты, дурень большой, нет бы делом занялся. У людей сенокос.

— Так и знал, — пробурчал Валерка, разглядывая мусор у ног и не поднимая упрямой головы.

— Жених ведь! А умишко детский. Нарочно с сенокосом не прошу, думаю, сам догадается. Догадается, как же! Жди больше! Почто я тебя такого непутевого народила! И умереть-то толком не сможешь, из-за пустяка, из-за безделицы пропадешь!

Мать плакала, уткнувшись в платок, узел волос на ее голове вздрагивал. Валерка не любил ее слез. Не потому, что жалел мать, — он вообще плачущих не любил. И чего тут реветь? Ничего же не случилось.

— Я вас одна подняла, вкалываю, как двужилная... А ты... ты... весь в отца. Безалаберный! Без царя в голове.

Мать редко вспоминала об отце, по крайней мере вслух, а если вспоминала, то всегда говорила одно — без царя в голове. Непутевый. И Валерка непутевый. Не то что Павлик. Павлик — надежда и опора. Павлик думает. А про Валерку что говорить? Даже председатель непутевым обозвал. А ведь сам первый вызвал, на работу пригласил, права посмотрел, в школе полученные, и трактор дал. Правда, трактор так, одно название. Потом через полгода снова вызвал и отобрал трактор. Не можешь, говорит, за рычагами, — вилами поработай. А под конец такой ласковый сделался:

— А что, — говорит, — может, тебе и правда лошадиных сил поубавить? С семьдесятью справиться не смог, может, с одиннадцатью совладаешь? Всего одиннадцать, зато натуральных. Принимай конюшню. Может, ничего, а? Может, привыкнешь? А тракторист ты никакой. Непутевый, одним словом.

Валерка не понимал, почему он — непутевый. Он всегда старался сделать, как лучше для людей. Выходило — как хуже. И это «как хуже» он не умел ни предугадать, ни предотвратить. Знал бы где упасть — соломки подостлал. Валерка — не знал. И падал. И ушибался.

Валерка был инициативный парень, он всегда чего-то «хотел». Неумную его фантазию невозможно было обуздать. И механик сказал, скрипнув зубами:

— Уходи, не то повешусь. Жрешь ты, что ли, запчасти?

Валерка не жрал. Валерка считал, что с экономической точки зрения десяти тракторам стоять в гараже невыгодно, и другим трактористам, занятым на ремонте, предложил исправные части со своего трактора взамен их, изношенных и неисправных.

— Я все равно долго простою. Работайте хоть вы пока.

И остальные тракторы выехали, неисправные части трактористы поставили на Валеркин трактор, для комплектности. Говорили:

— Молодец, парень! Выручил. Пока стоишь, механик тебе достанет.

И механик доставал. Но все чаще «спускал собаку», потому что, поддаваясь уговорам, Валерка и эти запчасти раздавал механизаторской братии. А потом наступила слякотная осень, с той погодой, когда хороший хозяин собаку из дому не гонит. Трактористы вернули Валерке его запчасти. Во искупление долга помогли собрать трактор, и торжествующий Валерка выехал из мастерской. За его место сразу же началась грызня. Теперь все, чтоб сберечь трактор от бездорожья в лихую погоду, стремились встать на ремонт. Сразу все. Потому что у каждого была какая-нибудь Валеркина запчасть в тракторе, без которой теперь работать было нельзя. Механик схватился за голову.

Валерка был счастливо опьянен тем, что трактор — эта груда непонятого железа под ним — обрел способность двигаться, он уже не верил в это чудо. И такую силу Валерка в себе почувствовал, когда к его силенкам прибавилось сразу семьдесят лошадиных сил, что любое бездорожье стало ничем. Бездорожье и наказало его. Хотел через ложбинку напрямик сигануть...

Трактор засосало в трясины по самую кабину. Валерка забрался на крышу. Взбешенный механик ругался, поминая божью и чертову мать, а потом вызвал Валерку председатель и «сослал» на конюшню.

Валерке было жаль трактор, утопший в трясине, жаль, как живое существо. Правда, когда трактор вытащили и очистили от грязи, жалость ушла. К трактору приставили нового хозяина.

Лошадей Валерка тоже жалел, но это была жалость совсем иного порядка. Жалость перерастала во влюбленность. Валерка был влюбчив, к любому делу не просто привыкал, а прикипал самозабвенно.

Идеей запрячь тройку Валерка зажегся едва ли не с первого дня своей работы в новой должности — конюха. Он не спал по ночам, счастливо улыбался в темноте и уже видел себя, несущегося на тройке. Ощущение езды было близким ощущению полета, и он летел, летел, летел... Порой он видел свою тройку, словно с высоты грачиного полета, под ним кони на лугу были свежи и безупречны. Почему-то всегда виделись белые лошади, хотя на конюшне ни одной белой лошади не было. Сердце не видело в этом обстоятельст-

ве никакого обмана или подлога, колотилось горячо и взволнованно.

Стены своей комнаты Валерка увешал фотографиями троек, большими и маленькими, цветными и черно-белыми, газетными и журнальными. По фотографиям упряжь изучил и для своей тройки сделал. Хомутовую. Она попроще, чем шорковая, благо хомуты на конюшне были.

Другого наглядного пособия у Валерки не было. Даже к Митричу за советом не пошел. Удивить хотел старика, обрадовать. Обрадовал...

Расстроенный Валерка принес домой обрывки постромок для ремонта и ночь спал плохо. Слезы время от времени закипали в горле. Он ворочался на сене и тяжело вздыхал.

— Не убивайся, — сострадал Павлик. — Первый блин завсегда комом. В другой раз, вот увидишь, получится.

Помятый и невыспавшийся, Валерка чуть свет засобирался на конюшню, полный решимости починить телегу, а вечером, когда спадет жара и слепней поубавится, еще раз опробовать тройку. Без помощников, без свидетелей, где-нибудь подальше.

Едва Валерка открыл дверь в конюшню, как сразу почувал неладное. Лошади прядали ушами, мерин Кузя ржал ласково и доверительно, как ржал только в присутствии Митрича, но голова его была в стойле Оплошки. В ответ Кузе вдруг раздалось тоненькое, пискливое ржание. Кузя радостно заволновался, затоптался, порываясь еще больше протиснуться в чужое стойло, даже коленками по перегородке застучал.

У Оплошки родился жеребенок. Легкий пар поднимался от его мокрого, слабого тельца.

Председательский Выездной отцовских чувств никак не проявлял. Он вроде бы даже сердился на что-то, презрительно оттопыривал нижнюю губу и фыркал, досадливо бил копытом в пол. Он всегда бил копытом при виде конюха. Требовал корму. Стоило насыпать — в кормушку овса — тотчас успокаивался.

Но Валерка бросился со всех ног не за овсом, он побежал за Митричем.

Митрич пришел торопливой походкой, на ходу докуривая папиросу. Наклонился над жеребенком, поморщился:

— Ну и клоп! Стряхнула, парень, кобыла. Недоходила, — и с укором посмотрел на Валерку. — Ну да ничего, авось выживет.

Валерка винил и казнил себя. Далась эта тройка! Он старательно, с преувеличенной готовностью помогал Митричу: держал сырую, скользкую ножку жеребенка, пока Митрич перевязывал пуповину, таскал солому на подстилку, растирал жеребенка чистой мешковиной... Жеребенок не вставал.

— Надо кобылу подоить, мальцу без молозива нельзя. Давай-ка сам, учись.

Валерка неумело, вопреку от прилежания, надоил поллитра. Митрич ушел. Валерка посадил около жеребенка сторожем Павлика, подал ему свои часы и строго наказал поить жеребенка по сто граммов каждые полчаса из соски, а сам ходил вокруг конюшни, ни за что не мог взяться:

— Только бы выжил! Только бы выжил...

К вечеру жеребенок начал вставать и сам пытался дотянуться до вымени. Ужинать Валерка и Павлик ходили по очереди. Когда Валерка вернулся из дому, Павлик шепотом приказал:

— Тише ты! Не вспугни.

Жеребенок сладко чмокал, уткнувшись матери в пах и широко расставил разъезжающиеся в стороны ножки.

— Теперь будет жить! — восторженным шепотом сказал Валерка. На душе его стало легко и покойно.

— Через три года его можно будет в тройке опробовать. Даже раньше, — счастливо прошептал Павлик. — Из Фомки плохой коренник. Им править трудно. А этого мы сызмала приучим... Сначала с мамкой...

— Я к тому времени отслужу как раз!

Вечером братья долго возились на сене, страстно, в полголоса, переговаривались. То и дело слышно было:

— Вот Клоп подрастет... Заводскую бы сбрую! Мы такую тройку... Эх!

## ГОЛОДНЫЙ ОСТРОВ

Остров оказался слишком мал, чтобы прокормить табун. В прежние лета на него привозили по пять-шесть лошадей, из тех, в которых поселок летом особой нужды не испытывал. Чаще всего это был необученный молодняк. Молодые лошади на вольном выпасе нагуливали тело без всяких на то затрат, даже выпасать их не надо было — их оберегал и стерег остров.

Лошадей мало-помалу вытесняла техника. На остров стали увозить и рабочих лошадей, а в это лето табун набрался в шестнадцать голов. В поселке оставили всего двух мерингов для запряжки.

В нормальный год остров, быть может, и прокормил бы табун, но выдалась засуха...

Лошади принадлежали прибрежному колхозу, который кроме земледелия промышлял еще и рыбой. Колхозное руководство давно делало попытки избавиться от этих последних коней, но пока присматривал за ними Семеныч, большой мороки с лошадьми не было и приговор им все не подписывали, отодвигали, потакая Семенычу.

Семеныч сам заготавливал для конюшни большую часть сена, овес добывал, как придется, и жилось лошадям не так уж плохо.

Тем более что работали они не каждый день. Работали в основном не на колхоз, а на его работников: пахали огороды, подвозили сено, по зимней дороге возили дрова и рыбу, возили людей в соседние поселки, чаще всего в магазин и больницу, по причине отсутствия регулярного транспорта. Так или иначе все лошади сколько-нибудь работали, и конюх умел доказать, что без лошадей — нельзя.

Веснами, когда в поселке кончали пахать огороды, Семеныч сам провожал лошадей на остров, в «летние лагеря», как он выражался, и раз в неделю навещал своих подопечных. Приплывал на лодке с неизменным мешком овса. Лошади, увидев лодку издали, вскачь неслись к тому месту, где он обычно причаливал и нетерпеливо толпились на берегу. Конюх вытаскивал лодку на песок, высыпал овес на дно лодки и с удовольствием наблюдал, как лошади торопливо хватали овес, брыкаясь и сердясь друг на дружку от жадности.

Овес кончался, лошади подходили к Семенычу, обнюхивали, доверчиво трогали губами, он осматривал каждую — все ли здоровы — оглаживал, и они провожали его, забредая в воду вслед за лодкой.

А нынче Семеныч занемог с самой весны.

Начало лета было богато травой, и лошади не особо горевали по Семенычу. Одна только Безымянная не отводила глаз от теряющегося в сизом мареве поселка и, широко раздувая ноздри навстречу знакомым запахам, ржала долго, обеспокоенно.

Семеныч считал Безымянную своей. Эта лошадь пришла зимой неизвестно откуда, притулилась от ветра за конюшенной стеной. От мороза пар ее дыхания замерзал и ноздри покрылись льдом. Сосульки росли, часть их ломалась и стряхивалась, когда лошадь подходила к сену, но часть все-таки оставалась, и сосульки позванивали при движении.

На морозе стоять было холодно, лошадь дрожала, подведя под себя задние ноги. Семеныч несколько раз пытался ее прогнать.

— Ступай, откуда пришла! Ведь кто-то тебя ищет, с ног сбился!

Безымянную не искали. Ее просто выгнали с фермы, где она стояла зимами, а летом пасла коров. Привезли быка на ферму, другого места не было — и поставили на место лошади. Сначала она бродила возле фермы, подбирая остатки кормов, за каждым человеком совалась в дверь, ее обидно стегали по моргающей морде, и она оставила попытки проникнуть в тепло.

Однажды ветер подул с непривычной стороны и принес запах лошадей. Безымянная долго боролась с собой, с притяжением родного места и этим зовом неведомо откуда, потом пошла напрямик, по снегу, на этот запах, потому что всякая одинокая лошадь стремится прибиться к табуну.

Снег был глубок. Безымянная измучилась. К тому же ветер

снова переменялся, и она потеряла направление. Чисто интуитивно она продолжила путь и набрела-таки на конюшню. Лошади слышали чужую и забеспокоились, заперевирали ногами в денниках. Поднялся беспорядочный топот. Жеребец ржал страстно, почти непрерывно, ему вторили кобылы. У Безымянной потеплело на сердце. Звуки лошадиного волнения радовали Безымянную и притягивали. И она мужественно переносила холод. Только глаза ее слезились оттого, что она простудилась. Дышать мешало в простуженном носу, и она фыркала.

Безымянная была невысокая, с широкой спиной, крепкая лошадка гнедой масти. Своего определенного имени она не имела. По старому месту жительства у нее великое множество раз менялись хозяева, каждый называл по-своему, не интересуясь, как ее прежде звали. Сколько сменилось хозяев, столько сменилось и кличек. Она так привыкла к обилию собственных имен, что откликалась доверчиво на всякую, даже коровью, кличку.

Проходя мимо, Семеныч повторял:

— Иди, иди домой! Зазябнешь. Вертайся, — голос у него был добрый и Безымянная не боялась, не уходила.

Однажды ночью разыгрался буран. Семеныч проснулся от завывания ветра и больше уснуть не мог. Все виделась ему зябко съжившаяся гнедая у стены. Он оделся и вышел в метель.

Невидимая в сплошной снеговой завесе Безымянная сама окликнула его тихим ржанием. Семеныч ощупью нашел ее. Под шерсть лошади надуло снегу и она стояла шершавая, холодная, обледеневшая.

Конюх ушел за уздечкой. Дверь в конюшню отворило ветром, и, когда он вернулся, Безымянная стояла в дверях, робко перетаптываясь. Под напором ветра дверь ударила ее сзади. Безымянная содрогнулась и сделала шаг вперед. Теперь она стояла в конюшне, пристыженно опустив морду, потом неловко стала разворачиваться всем корпусом в узком проходе, словно испугалась своего незаконного вторжения, и так стояла, пока Семеныч взнуздывал ее.

Семеныч завел ее в пустующее стойло, засыпал овса, она жадно принялась есть. Пока ела, не отрывая морды от кормушки, он венником соскребал с ее боков заледевший снег. В конюшне было тепло. Шерсть ее, освобожденная от снега, повлажнела, улеглась, и сразу выперли наружу ребра.

— Не лошадь, а велосипед, — жалеючи, потрепал он ее по шее.

После Семеныч жалел ее особенно, в чужие руки не давал. Безымянная оказалась на редкость исполнительницей и терпеливой лошадей. За краткость и полюбил ее Семеныч, а полюбив — баловал. Поэтому здесь, на острове, Безымянная больше других тосковала по Семенычу.

А Семеныч не дожид до сенокоса. О лошадях за лето за обилием

других дел никто ни разу не вспомнил, если не считать малолетнего внука Семеныча — Леху. Парнишка все порывался побывать на острове, но сам работать на веслах не умел, а все, кого просил, только отмахивались: не до тебя!

В июне травы были обильные, лошади не столько ели, сколько отдыхали. Три стригунка носились взапуски, беспокоя старших лошадей, и Факел грозно, но с отцовской снисходительностью, поглядывал на них. Стригунки уносились в другую часть острова. Они все время старались держаться наособицу. За ними тянулась Ласточка, двухлетняя кобылка, дочь Белогривой. Детство ее только начинало переходить в тот возраст, который люди называют ранней юностью. За ней уже пытался ухаживать Факел, но она только испуганно лягала его, не подпуская.

В конце июня стал докучать зной. В особо жаркие часы лошади собирались в тени трех деревьев, одиноко торчавших на краю острова. Тени хватало на всех под их раскидистыми кронами.

Больше половины лета стояла непривычная жара. Озеро откатилось от берега и обмелело. Травы посохли. Сытая пора прошла. Прячься от зноя под деревьями, лошади обрывали нижние листья и веточки. Веточки были горькие, потому что деревья были — старые вербы, но травы становилось все меньше, и все чаще лошадям приходилось вставать на дыбы, чтоб достать хотя бы один листочек. Потом лошади обгрызли и перечно-горькую грубую кору со стволов. Деревья побурели и усохли, но отдельные листья в кроне заманчиво зеленели, и зелень эта еще долго удерживала лошадей под деревьями, пока они не поняли, что достать это последнее съедобное, оставшееся на острове, не смогут.

Теперь они рыли копытами землю и всякий съедобный корешок вытягивали зубами. Остров был перекопан и бесплоден, как поле перед севом.

В поисках пищи лошади бродили по острову с низко опущенными мордами, словно надеялись разглядеть под ногами хоть какой-нибудь незначай пропущенный росток. Сухой песок под ногами тонко пел. Казалось, земля просохла на всю свою глубину. И вдруг однажды ударил дождь.

Дождь собрался во второй половине дня. Озеро покрылось рябью, небо затемнилось, словно преждевременные сумерки объяли остров. Шквалистый ветер рвал хвосты и гривы, прохлада эта после долгого зноя радовала. Опережая грозу, упали первые крупные редкие капли, а потом уже не капли, а потоки воды низвергались с неба.

Лошади стояли кучно, подставив тугим струям крупы, только Белогривая стояла боком к непогоде: прикрывала собой крошечного, рыженького — в отца — жеребенка. Жеребенок народился на острове, люди еще не знали о его существовании. Он прижимался к теплему материнскому боку, словно листок, прибитый непогодой, и

весь напрягался, готовый трусливо спастись бегством от мощных раскатов грома и высверков молний. Но мать стояла на месте, и он верил — так и нужно стоять — от грозы не убежишь. Только ноги сами подрагивали от желания бежать.

Факел в сверкании молний, отсвечивающий медным блеском, словно аккумулировал, вобрал в себя все молнии — беспокойно носился вокруг табуна, едва ли сознавая, от чего охраняет своих товарищей.

Гроза прошла. Солнце выкатилось из-за тучи, словно выпало из ее клубящегося чрева и медленно село в дымную, исходящую туманом воду. Пряди тумана двигались, то открывая, то закрывая зажигающий далекие огни поселок. Силуэты неподвижных лошадей, обращенных головами к поселку, растворялись в темноте.

На следующий день жара навалилась с новой силой. Воздух был душен от обилия испарений, лошади вяло бродили по кромке воды, где при особом старании можно было найти несколько травинок. В духоте пришла слабость, тошнотворная, с мышечной дрожью, налетел гнус и, спасаясь от него, лошади забрели в воду. Вдали зеленел над водой островок зарослей рогоза. Лошади добрели до него по отmeli. Рогоз тут же был съеден. Сочные листья оказались жестковаты, но вполне утоляли голод, и лошади повеселели, но ненадолго. Рогоз кончился слишком быстро. Срывая подводную часть рогоза, лошади научились питаться водорослями и с того дня стали пастись на подводных пастбищах, ночевать возвращаясь на остров. Факел всегда следовал сзади, подгоняя, покусывая незлобиво особо медлительных кобыл. Отделяться от табуна он позволял разве что только Валету.

Встретившись с Валетом на острове первый раз (прежде Валета не выпускали), Факел разогнался и ударил мерина грудью, видя в нем соперника. Валет неловко, при его тучности, упал на колени, испуганно моргал, словно хотел спросить: «За что?». Он искренне не понимал причины нападения. Валета сделали меринком задолго до того, как у него мог бы появиться интерес к кобылам. Теперь он не мог в толк взять, чем неуютен, но на всякий случай отбежал трусцой в сторону. Все его могучее тело при этом колыхалось и лоснилось, бугры мышц перекатывались под кожей. Валет был самой мощной, самой сильной лошадей на конюшне. Его запрягали только на особо тяжелые работы. Он с одинаковым прилежанием и пахал, и навоз в огороды возил, и бревна из леса трелевал. Однако из-за своей тучности был он медлителен, и на работы, требующие скорости, его не брали.

Если требовалось съездить куда-либо, поселковые обычно запрягали вороную Четку, стройную и длинноногую. Несмотря на различие между ними, Валет питал к Четке особую привязанность, и частенько они вдвоем простаивали в стороне, положив го-

ловы друг другу на холку и полуприкрыв глаза. Обнаружив такую беспардонную симпатию, Факел налетал, как ураган, прогонял покладистого Валета и, торжествуя трубя, загонял Четку в глубь табуна.

Не только Валет с Четкой, большинство лошадей в табуне дружили парами. На конюшне они криком кричали одна без другой, в табуне старались неотлучно держаться рядом. Четка сдержанно проявляла свои чувства, не навязывала своей дружбы Валету, может быть, не принимала эту дружбу всерьез, но Валет исходил истерическим ржанием на конюшне, если Четку забирали.

Семеныч знал симпатии всех лошадей, поэтому старался ставить их в стойла рядом, чтоб не «травмировать» психику. Он знал, что Безымянная с ума сходит по Рыбачке, Белогривая — по Миноге, а Факел — по всем сразу.

Лошадиная дружба сохраняется многие годы. Впрочем, антипатии — тоже. Чаще всего дружат лошади родственного происхождения. Почему Безымянная подружилась с Рыбачкой — было загадкой. Но не было никакой загадки в том, что другие лошади Безымянную недолюбливали. Она постоянно ходила в укусах и ссадинах от ударов. Может быть, поэтому особенно горячо тянулась она за низкорослой, светло-серой трусливой Рыбачкой — потребность в дружбе иной раз сильнее потребности в пище. Если Безымянную по апрельскому снегу Семеныч пускал погулять около конюшни, она тут же стремилась вернуться назад и, когда ей это удавалось, находила стойло Рыбачки, долго и терпеливо грызла зубами забор — хотела вызволить подругу. Не могла она радоваться солнцу и свободе в одиночку.

Ярыми врагами в табуне были Четка и Судная. Они вставляли друг к другу задом и, взвизгивая от ненависти, лупили одна другую почем зря. Факел равнодушно наблюдал за этими скандалами, хотя скандалы, собственно, происходили из-за него. Просто Судная стояла на конюшне по одну сторону от жеребца и считала его своим другом. Четка — по другую, с теми же претензиями. Вражда эта никогда не кончалась. Каждая стремилась постоянно быть вблизи Факела и боролась за это право. Судная была старше и сильнее, Четке приходилось отступать. Побитая, она обиженно вставала в стороне, тогда подходил Валет и утешал подругу. Иногда во время драки он даже пытался заступиться за нее, но получалось это у него неуклюже: он топтался на месте, взбрыкивая тяжелым задом, подпрыгивал на месте, но не бил, а только изображал желание ударить. При своем исключительном миролюбии он не мог ударить даже Судную.

Случалось, Судная подходила, когда Валет с Четкой уединялись. Тогда Валет находил в себе мужество прогнать ее: норовил укусить. Судная с напускным безразличием проходила мимо.

Судная с Четкой выясняли отношения зря. Факел не вставал на сторону ни той, ни другой, но трогательно оберегал пятилетнюю Русалку. Русалка была некрупная соловая лошадка. Они часто носились вдвоем по острову вперегонки, раздувая ноздри.

Поразмявшись, возвращались, пофыркивая радостно, приятные друг другу своей молодостью, избытком силы и еще чем-то, одним им понятным. Судная и Четка делали вид, что ничего не замечают.

Ни с кем не дружила только очень старая Аэлита. Вероятно, она пережила всех своих подруг, а дружить с теми, кто ей во внучки и правнучки годился, не желала. Должно быть, в молодости она соответствовала своей красивой кличке, но теперь носила ее, как в насмешку. Была она одноглаза и мосласта. Глаз ей выхлестнул один поселковый рыбак. Ехал по наледи, и сани провалились, лошадь не могла их вытащить. Он лупил кобылу по морде, заставляя поднатужиться, а она пятилась от боли и страха. Сани с грузом ушли под воду, рыбак едва успел рассупонить лошадь и выхватить ее из оглобель. Лошадь на конюшню привел с опухшим, кровоточащим глазом. Семеныч раскричался, в сердцах ударил рыбака и пошел за лекарством, делать примочки на глаз кобыле. Примочки не помогли. Глаз вытек. А Семеныч с рыбаком остатки дней прожили врагами. О санях конюх не вспоминал, но кобыльего глаза простить не мог.

Отсутствие глаза мешало Аэлите работать. В работе она и потеряла все свои стати, стала некрасива и узловата. Грива ее с сильной проседью свисала неприбранными старушечьими космами.

Независимо от вражды и симпатий лошади подчинялись неписанным законам табуна. Было и свое лошадиное руководство. Водила табун обычно Белогривая. Она была опытнее других. Стоило ей двинуться куда-то, другие лошади направлялись за ней. Только Факел действовал по своему усмотрению. Если он не одобрял действий Белогривой, то просто не следовал за табуном, и Белогривая возвращалась, приводя всех за собой. Без согласия жеребца она не уводила. Как-то само собой получалось, что главным «начальником» оставался Факел, он и руководил всеми передвижениями по острову. Изредка он прибегал к силе, подгонял отстающих, когда это было необходимо. Тем не менее подгонял идущих за Белогривой. Эта «деловая дама» всегда знала, чего хочет жеребец, исполняла его волю. Русалка в отличие от нее была «дамой сердца», ничем и никем не руководила, тем не менее Факел всегда держал ее в поле зрения. Если терял из виду, не успокаивался, пока не находил.

Напрасно Белогривая неустанно водила табун по острову — есть стало нечего. На исходе лета лошади ослабли от голода. Первой сдала Аэлита. Однажды утром она не смогла подняться и только тихо звала кого-то, потом седая ее грива смешалась с песком и единственный, не смаргивающий более глаз тоже забило песком.

Голодный Факел укротил свой пыл, перестал замечать, как Валет уединяется с Чечеткой. Чечетка и Судная не находили в себе сил для склок и скандалов, но никогда не вставали рядом даже случайно — не могли превозмочь неприязни.

Лошади паслись на воде. Прибрежные водоросли кончались. Приходилось все дальше уходить по обширной отмели, все больше сил требовалось на возвращение, и они стали время от времени оставаться ночевать, стоя в воде. Особенно трудно это давалось жеребенку. Мокрый, он постоянно дрожал. Ночи становились все холоднее. Первый заморозок доконал его. Жеребенок слез в воду и подняться не сумел. Табун уходил по воде в поисках пищи, а Белогривая стояла над утонувшим малышом и преданно охраняла его. Первый раз она не вела табун.

Ночью жеребенка унесло течением. Утром, не найдя его, Белогривая с душераздирающим криком носилась по отмели, расходуя последние свои силы. Крохи молока, скопившегося в вымени, гнали ее в поисках жеребенка. Потом молоко пропало. Она несколько успокоилась, но все время чутко прислушивалась к чему-то и горячо, вся вздрагивая от возбуждения и напрягаясь, откликалась почудившемуся ей тонкому ржанию.

Наступила осень. Ветер сорвал с трех деревьев безжизненную листву, она тут же была подобрана до последнего листочка и съедена. На острове стало совсем неуютно, даже жутковато. В прежние годы в эту пору лошадей возвращали в поселок. Стоя на пронизывающем ветру, от которого негде было укрыться, лошади вспоминали парное тепло конюшни, негромкий голос Семеныча, его руки, его запах. Он имел привычку разговаривать с лошадьми, когда раздавал корм. И лошади тоже разговаривали: тихо, благодарно, успокоенно ржали. Он клал в кормушку сено и отходил. Теперь они рады были бы и ржаной соломе.

Факел вставал на возвышенной части острова, вытягивал морду навстречу ледящему ветру, но запаха человека, близкого человека, слышно не было. Лошади подолгу с надеждой смотрели в прозрачную синеву, стараясь разглядеть лодку Семеныча, а Безымянная звала неустанно. Ее поддерживала Белогривая. Но даже эхо им не отвечало.

Чечетка совсем высохла и ходила по острову, как сама костлявая смерть. Отросшая за лето грива волочилась по песку, когда она опускала морду. Сухие ноги заплетались и подкашивались.

Лошади выглядели нездоровыми, шерсть их потускнела и разлохматилась. Шоколадные, в светлых яблочках бока Белогривой ввалились. Более или менее сытым выглядел один Валет, но и от его неповоротливой тяжеловесной стати ничего не осталось. Теперь он вполне мог сойти за рысака, если бы не огромные копыта, да тяжелая, несоразмерно большая голова.

Лошади напрасно бороздили ледяную воду. Все водоросли окрест были съедены. Ночами пропархивал снежок. Земля закаменела на морозе. Рассвет розовым огнем зажигал пышный иней на безжизненных вербах.

Белогривая от слабости чувствовала дрожь в ногах. В тумане этой слабости и пришел к ней однажды, видимый ей одной, поселковый мальчишка Лёха, внук Семеныча, которого она частенько прежде катала на себе. Парнишка прибежал, издали протягивая горбушку хлеба, посоленную грубой солью, и счастливо, звонко смеялся, когда Белогривая делала несколько шагов навстречу и с аппетитом уплетала протянутый хлеб. Он обнимал ее крупную, с белой лысиной голову, заглядывал в добрые глаза и все смеялся, смеялся...

Мальчишка привиделся так отчетливо, что Белогривая переступила навстречу и ощутила во рту забытый вкус хлеба. Вода свинцово шевельнулась у ног, Белогривая вздрогнула и огляделась. Рядом никого не было, только звенящий смех мальчишки угасал где-то вдали, неожиданно похожий на счастливое ржание ее пропавшего жеребенка. С той минуты мальчишка и жеребенок стали представляться ей единым существом, которое она звала тревожным ржанием.

На рассвете, когда ни единый звук не нарушал тишины спящего поселка, мальчишка просыпался от этого далекого, едва проникающего в комнату ржания, слышал его не столько ушами, сколько сердцем, с утра приставал к мотористам на берегу с осточертевшей всем просьбой — перевезти лошадей с острова.

— Привязался! — отмахивались от него. — Ни черта не сделается с твоими лошадьми. Вон, на Алтае, и зимой по снегу пасутся. Понял?

Мальчишка плакал от собственного бессилия, не находил слов в защиту лошадей.

А на острове резкий ветер сбивал лошадей в тесный живой ком — так было теплее.

Однажды Факел встрепенулся, засуетился, принялся напирать и покусывать, заставляя табун двигаться по воде. Он делал последнее, что можно было сделать — заставлял лошадей добираться до поселка вплавь. Это была последняя мера. Завтра будет поздно. Он знал, что лошади ослабли и многие не доплывут, но ради тех, которые все-таки доплывут, надо было плыть.

Лошади сопротивлялись. Табун не подчинялся.

Снег падал на воду и не таял. Казалось, озеро на глазах покрывалось клочковатой пеной. Факел неистовствовал из последних сил, бил задних лошадей, и они потеснили передних настолько, что сначала Чечетка, а за ней Валет и Рыбачка — шагнули в темноту. За ними неохотно последовали остальные.

Жеребец забежал вперед, показывал, куда идти, подгонял, кру-

жась, вокруг табуна, и лошади пассивно брели в сторону поселка, вспарывая тонкий ледок. Неожиданно Чететка окунулась в воду вся. Отмель кончилась. Она тут же выплыла назад и покрылась ледяной коркой на морозе. Лошади прочно встали. Напрасно Факел негодовал, все злее кусал, заставляя двигаться, метался, поднимая тучи брызг. Брызги замерзали на лету и сыпались ледяными горошинами на подхвативший воду тонкий ледок.

Каленый ветер леденил дыхание. В мутном небе долго не показывалось неживое, замороженное солнце, но и показавшись, оно не согрело. Лошади кашляли, то одна, то другая. Особенно тяжело, надсадно кашляла обледеневшая Чететка. Она вытягивала морду и вся содрогалась, пошатывалась от кашля. Чететка первая подобрала ноги под себя и не то легла, не то упала. Ледок раскрошился под нею и осколки его запутались в гриве. Словно обжегшись, Чететка попыталась подняться из ледяной купели, но сил на это не хватило и она долго, бесплодно билась в ледяном крошеве, стараясь удержать над водой хотя бы голову. Голова то и дело бессильно окуналась, покрывалось все большей коркой льда. Из глубины этой ледяной глыбы горели мученические глаза Чететки. Она никогда в жизни никому не сопротивлялась. Даже когда обучали, ни разу не брыкнулась, покорно поддалась воле человека. Теперь она так же покорно, терпеливо дожидалась своего конца.

Лошади стояли понуро над Чететкой, словно хотели отогреть ее своим дыханием, и не заметили, как глаза ее потухли и остекленели.

А мороз все крепчал. Теперь уже и Факел не двигался, похоронив в себе надежду добраться до берега. Озеро сковал лед. Жеребец стоял неподвижно, поглощенный мукой стоять заживо вмороженным.

Заря занялась нежно-розовая, цвета каленого железа. Не было сил ни на одно движение. Белогривая попыталась высвободить копыта из-под льда, ей это не удалось. Сознание перемежалось. И вдруг опять привиделся ей Лёха, протягивающий краюху хлеба. Белогривая заржала тихим, признательным ржанием, собрала последние силы и шагнула вперед... Ледяной капкан держал крепко. Она потеряла равновесие и рухнула, проломив лед... Через несколько часов около ее похолодевшего бока ветер намел крошечный сугроб, словно белоснежная грива отросла и разметалась за спиной.

...Дольше всех жил Валет. Он бухал по льду огромными копытами, лед с треском проламывался и не успевал заковывать его. Валет попробовал вернуться на остров, белый и бесплодный, близкий и далекий одновременно, но ни одна из лошадей не последовала за ним, а лед больно ранил ноги — каждая лунка окроплялась кровью. Он оставил это бессмысленное занятие, подошел к неподвижному Факелу. Так они и остались навсегда стоять, два примиренные смертью врага, будто два преданнейших друга — один подле другого.

Люди пришли по окрепшему льду. Впереди бежал Лёха, поскаль-

зываясь от торопливости и падая. За пазухой он прижимал к себе теплую краюшку хлеба. Аромат горячего, еще не остывшего от печи хлеба поднял бы и мертвого, но холодные губы окаменевших лошадей гордо отвергали это последнее, жестоко опоздавшее подаяние.

## НЕУК

Весь луг от леса до речки был одним ярким, солнечным пятном, настолько желт он был от цветущих купальниц. Каждый цветок сиял в майской зелени крохотным солнышком и гас, примятый копытом.

Солнце палило немилосердно, словно не май стоял, а разгар сенокоса. Жеребец под Ополевым топтал луг вдоль и поперек, то и дело норовисто прижимая уши. Но Ополевым был начеку, крепче натягивал поводья, и жеребец затаивал, придерживал про себя свою очередную выходку: не время еще. Нужно того, который в седле, застать врасплох. Жеребец не знал, что застать врасплох Ополева — невозможно.

Ополевым приехал в «Рассвет» неделю назад. Ночевать его отвели к старухе, что жила в просторном, еще добротном, но холодноватом, как она пожаловалась, доме. Утром свели на конюшню, и конюх показал:

— Вот, значит, с шестой и начинай. По порядку. Шестая, седьмая, восьмая.

— Сколько им годков?

— По три.

Конюх ушел. Ополевым не спеша приготовил, припас для работы корду, седло, уздечку. Сел прикурить против той лошади, с которой решил начинать. Была она поменьше других, и мороки особой с ней не ожидалось. Ополевым всегда начинал с наиболее спокойной лошади, а нрав лошадиный угадывал с безошибочной точностью — профессиональная интуиция. Опасная эта работа давалась ему без особого труда. Опыт и прирожденный талант дрессировщика совместно с глубоким знанием лошади позволяли ему достичь немало совершенства в своем деле.

За свою жизнь Ополевым обучил не одну сотню лошадей и справедливо полагал, что тем немало пособил развитию коневодства во многих хозяйствах. В иных колхозах лошади перевелись единственно из-за того, что обучать их стало некому. Мужики пересели на трактор, не бабам же этим делом заниматься!

По профессии Ополевым был зоотехник. Работу зоотехника начинал в одном глухом колхозе, куда попал после распределения. Первым делом выбрал себе хорошего молодого коня и обучил его, чем немало удивил и обрадовал совхозное руководство. Его попросили:

— Может, еще одну-другую обучишь? Нужда в лошадях большая, а обучить — некому.

— Обучу.

И обучил еще четырех. И под седлом, и в упряжи. Правда, бился с ними, из-за недостатка опыта, довольно долго. Бился с ожесточенным упрямством, которое происходило, в общем-то, от любви к лошади.

— Дура! — выговаривал он кобыле. — Чего артачишься? Я же во имя твоего спасения... Не обучу — конец. На бойню тебя.

Лошади его понимали. По крайней мере, посторонние говорили, что он умел находить с лошадьми общий язык.

Ополеву пристрастился к новому делу, так неожиданно ставшему делом его жизни. Его стали приглашать в соседние хозяйства, а там и в ближние районы. Он ушел из зоотехников и стал заниматься единственно обучением. Незнакомые мальчишки в колхозах, куда он наезжал по великим просьбам, смотрели на него, как на киногероя. И то сказать, был он редкостным в своем роде профессионалом. Зачастую подсовывали ему дурноезжий молодняк, который и молодняком-то назвать язык не поворачивается. Он смотрел в глаза тому, кто предлагал ему для работы лошадь, видел ложь в них, но никогда не стремился уличить во лжи, в том, что возраст лошади называли вполтину меньше настоящего.

Чем старше лошадь, тем труднее поддается она обучению. Он брался за любую. Лошадь не виновата, что ее не обучили вовремя, и тем более должна отработать потраченные на нее корма и средства. Профессиональная гордость, что ли, не позволяла ему отказываться даже от самых трудных представителей лошадиного народа. Часто он шел на прямой риск. Случалось, из застарелых неуков получались столь строгие лошади, что на них не решались сесть, через какой-нибудь срок вызывали опять Ополеву, и он наезжал застоявшихся у робких конюхов жеребцов, теперь бесплатно. Это уже не называлось обучить, хотя и было более опасно. Бывшая под седлом, застоявшаяся лошадь не боится седока и достаточно опытна в своих проказах.

В иные хозяйства Ополеву приглашали ежегодно, по мере поспевания молодняка. Был он знаком со многими зоотехниками и конюхами, а в «Рассвет» попал впервые. Молоденькая, хрупкая на вид зоотехник пояснила:

— Мы только начинаем лошадей разводить. А то ведь совсем перевелись... Со временем, может, сами научимся.

Ополеву усмехнулся про себя: «Как же, сами!» — смерил зоотехника оценивающим взглядом и неожиданно для себя смутился, даже вздрогнул внутренне: она чем-то неуловимо была похожа на его покойную жену. Та же легкость, тот же золотистый цвет в глазах. Но главное, конечно же, было не во внешнем сходстве. То, что было

заклучено в ней, чужой девчонке, было настолько знакомо и родственно, что ему стало трудно дышать, он неловко повел подбородком в сторону, на лице появилось выражение виноватой растерянности, почти испуга.

По дрогнувшим губам Ополева девушка едва ли могла догадаться о том, что всколыхнулось в нем, но душа ее с чисто женской интуицией и участием потянулась к этому суровому на вид, светлоглазому, светловолосому человеку со шрамом от середины левой брови через висок.

— Больно было? — спросила она, указывая на шрам, и в тоне ее голоса опять послышалась Ополеву мягкая заботливость покойной Ирины. Та тоже, тогда, давно, увидев рану, дотронулась пальцами до виска и спросила: «Больно было?»

Он усмехнулся:

— Не удержался. Бывает!

— Можно, я приду посмотреть, как вы обучаете?

— Милости просим! — засмеялся Ополев.

В конюшне, затягиваясь сигаретой, Ополев вспомнил о зоотехнике. Потом посмотрел на припасенную сбрую — все ли в порядке? Не осрамиться бы. Как-никак начальство. Вдруг и впрямь придет. Но можно было и не смотреть. У него всегда все было в порядке. Своими руками сработанную узду и легонькое, почти ничего не весящее седло, в командировки он брал с собой. В ином хозяйстве путного седла не сыщешь.

На деннике лошади, с которой надумал начинать, было написано мелом: Залётка.

Залётка оказалась смирной и послушной кобылой. Он даже на корде не стал ее гонять. Заседлал прямо в деннике, дрожащую от страха, прикрикнул грозно, она выскочила из конюшни, приседая от испуга, дала без дурости себя взнуздать и сесть в седло... Через полчаса он вернул ее на место, потную и недоумевающую. Она уже хорошо слушалась повода. Нет нужды переутомлять.

Следующая была Майка, рыжая, рослая. «Наверно, в мае родилась», — с безразличием подумал Ополев. Она с веселым любопытством уставилась на незнакомца, фыркнула недоверчиво и подворотила зад. Ополев изловчился, набросил веревку на ее шею, взнуздал, дал постоять на привязи — пусть привыкнет. Рыжая грызла ожесточенно удила, пяtilась, силясь оборвать привязь, а когда стал седлать, забилась, вращая глазами и всхрапывая. С ней он провозился до вечера, но завел в денник тихую, утомленную. По опыту знал — из нее получится спокойная лошадь с добрым нравом.

Перед уходом с конюшни задержался перед третьей, последней лошадей, которую следовало обучить. Это был некрупный жеребец редкой караковой масти. Кличка его была написана особенно отчетливо и красиво — Деспот. Наверное, он пользовался на конюшне



особыми привилегиями. Даже денник его был устроен иначе — крепче, основательнее, просторнее. Захотелось почему-то, чтоб зоотехник увидела его именно на этом коне.

Ополев угостил жеребца сахаром, для знакомства. Деспот взял угощение с преувеличенным достоинством и тут же отошел: дескать, не купишь и сахаром. Ополев стоял, улыбался своим мыслям, отдыхал. Был он одет в летний охотничий костюм и поношенную шляпу с загнутыми полями, которую снимал только перед тем, как сесть на необученную лошадь — все равно свалится. Сначала всегда припасал упряжь, потом садился и выкуривал сигарету, разглядывая в упор лошадь. Кончив курить, снимал шляпу. И это был последний этап его готовности к работе, показатель полнейшей собранности. Он подходил к лошади, плавно заводил руку (лошади боятся резких движений), одобрительно похлопывал по шее, не спеша обнимал другой рукой с зажатым в ней поводом, и лошадь не замечала, как

оказывалась в плену, из которого высвободиться ей предстояло только после смерти: обученная — пожизненная пленница.

Ополев не был жесток с животными, он не был сторонником насильственного обучения, как это принято у цыган, например, но в плавности его движений угадывалась кошачья ловкость, сила сжатой пружины, готовой отдать свою энергию тотчас. Неторопливость и плавность были напускными, необходимыми в работе, как корда и седло, показательными — для лошади, и только спокойствие было истинным, непоколебимым. Нервное состояние человека мгновенно передается лошади. Постоянная работа с лошадью приучает успокаиваться в ее присутствии; постепенно спокойствие, сдержанность становится чертой характера.

Ополев был спокоен по той причине, что не боялся коня, равно и смерти не боялся, из тех соображений, что жалеть его было некому. Ополев был одинок. Счастливое супружество его не продлилось дольше медового месяца. Через три недели после свадьбы поехали они с Ириной на мотоцикле к ее сестре, в соседний поселок. На большаке их начал перегонять самосвал и неожиданно ударил в коляску, где сидела Ирина.

Ополев не помнил, как вышвырнул из кабины пьяного водителя, не помнил, как внес на руках жену в больницу, опомнился только после похорон.

Двенадцать лет спустя, так же как и через неделю после ее смерти, он просыпался с уверенностью, что она — жива. Угасал на границе сна и яви далекий, до боли знакомый голос...

Жениться второй раз он так и не решился. Ему всегда чудился подлог и несправедливость в новых отношениях с женщиной. Прерванный смертью медовый месяц не мог повториться. Он не стремился к сближению с женщинами. Ему даже нравилась кочевая, бездомная жизнь: сегодня в одном конце области, завтра — в другом. В пустой свой дом он наведывался редко, словно избегал родного жилища и боялся его. Каждодневная игра со смертью притупляла сосущее, острое ощущение своей ненужности, отвлекала от тяжелых мыслей, в то время как жуткое притяжение родного, ставшего нежилым дома и страх перед ним, перед навязчивым постоянством одних и тех же сновидений, похожих на кошмары, изматывали его. За пределами дома Ирина ему не снилась. Может, поэтому он и стремился прочь из дому, месяцами пропадал в богом забытых глухих селениях; может, поэтому, как привязанный, неизменно возвращался в нетопленный дом, в котором настораживали даже звуки собственных шагов.

Друзей у него не было. Среди чужих людей нелюдимость его не бросалась в глаза. Этим же оправдывалась и его неразговорчивость. О чем говорить с чужими? С лошадьми он, пожалуй, разговаривал даже больше, чем с людьми: «Стой, милая», «Не дури», «Шагом, шагом!». Или: «Не злись, дорогой. Куда ты денешься!».

И лишь изредка: «Ха-арошая! Молодец». Вот и весь набор слов, какими он пользовался.

В недолгой семейной жизни эта его неразговорчивость не мешала им с Ириной понимать друг друга. Не встречал он больше похожих на Ирину. Возможно, преувеличивал все, что ее касалось, идеализировал. Возможно, и сходство молодого зоотехника было с нею лишь поверхностное, но что-то сладко тревожило его, томило, волновало. Отрабатывая лошадь, он то и дело оглядывался в надежде увидеть девочку, однако ее не было.

Не пришла она посмотреть, как он обучает лошадей. А жил он в «Рассвете» довольно долго. Неожиданно много времени потратил на Деспота. Крепкий орешек попался.

Деспот с самого начала начисто отказался подчиняться. Несколько часов Ополев не мог вывести его из денника. Деспот храпел, пятился, вставал на дыбы. Правда, особой агрессии он не проявлял — не норовил укусить или лягнуть, но и выйти из денника наотрез отказывался. Проход был достаточно широкий, и Ополев не понимал, чего же боится жеребец. Ничего как будто не было располагающего к такому упрямству.

Вывести он его так и не смог. Устал сам и Деспот вспотел от борьбы.

Ополев сел покурить. С ним никогда такого не случалось, чтоб он оставил в покое лошадь, не отработав на ней положенную норму, самым же установленную, и устраивал себе отдых. Крепкий орешек простыми средствами не давался, следовало придумать что-нибудь новенькое.

Ополев не придумал ничего умнее, как открыть дверь денника и спрятаться — авось сам выйдет. И верно — жеребец вышел осторожно, встал мордой к соседнему деннику и, взвизгнув, топнул ногой. Кобыла доверчиво жалась к перегородке. Деспот обнюхивал ее, насколько мог просунуть голову. Он не сопротивлялся, когда Ополев взнуздal его, но выйти из конюшни снова не захотел. Как ни бился лошадиный ас, все было напрасно. В злобе он сел на него без седла и, усердно работая хлыстом, заставил-таки выйти на волю.

Заседлать неука оказалось несложно, и даже сесть в седло он позволил. Но на этом его послушание и кончилось. Деспот танцевал на месте, вертелся волчком, делал свечки, грозя опрокинуться на спину, подкидывал задом... Ни на метр не удалось отъехать от ворот конюшни в тот день Ополеву. Раздосадованный и взвинченный, Ополев вернул жеребчика на место и всю ночь обдумывал новую тактику в обучении этого дьявола. Словно нечистая сила в коне. Вел он себя, будто дикий мустанг, ни разу не видевший человека. Между тем Ополев отлично чувствовал, что жеребец хорошо берет повод и легко поддается управлению, если дело не требует движения вперед. Он хорошо пятился, поворачивался влево и вправо, легко,

по требованию, вставал на дыбы, когда Ополев слишком сильно принимал поводья.

Дурость его около ворот конюшни была цветочками по сравнению с тем, что творил жеребец на следующий день на лугу, куда Ополев заставил его прийти, птясь задом. В сторону конюшни Деспот двигался отлично на любом аллюре, но от конюшни...

Зоотехник, спрятавшись в зарослях, с восторгом и испугом наблюдала за борьбой коня и человека. Разогнавшись, Деспот на всем скаку падал на колени и на подъеме бросался в сторону. Ополев летел из седла в траву, не выпуская поводьев. Он был весь зелен от смятой травы, даже лицо его было зеленым от сока купальниц, а может, от злости. Кровавый рот Деспота не признавал, не слышал боли. Жеребец вновь и вновь выкидывал непостижимые уму штучки. Многоопытный Ополев выходил из себя, а дело как будто и не продвигалось. Зоотехник то и дело порывалась выйти из своего укрытия и сказать: «Да бросьте вы его! Жизнь дороже!» — но тем самым выдала бы себя и только ойкала тихонько, прикрыв ладошкой рот, потом ушла, вздрагивая испуганно и оглядываясь.

Только к концу недели взбешенный Ополев добился от коня послушания. Это был случай из ряда вон. На самых непокорных он тратил времени в два раза меньше. И в последний день, сшибая купальницы, конь играючи ходил под седоком, старательно выкидывая вперед прямые ноги, но прижимал уши, и подкарауливал, выжидая в Ополеве слабинку. Где-нибудь да расслабится.

Однажды конюх пришел раньше времени на конюшню и поинтересовался:

— Ну как, продвигается?

— Продвигается! — ответил Ополев. — Жеребец только с норовом будет.

— Какой жеребец? — изумился конюх. — Обучать-то трех кобылок велено.

— Как, кобылок? А этот, караковый?

— Тю! — насмешливо присвистнул конюх. — Мы на нем шестой год ездим.

Ополев выронил от удивления поводья из рук.

— Как это?

— Да так!

Конюх свободно зашел в денник и потрепал жеребца по морде. Тот добродушно тыкался губами в его ладони, потом принялся обнюхивать карманы. Без каких бы то ни было усилий конюх взнуздal его, выпустил из соседнего денника серую подругу жеребца и вывел обоих на волю.

— Так вот и маюсь, — пожаловался Ополеву. — Без серой не выходит. Трактором не вытащишь. А так — куда хочешь. Возьми, прокатись. Ты на серой, я на нем. Сам увидишь.

Заседлали обоих, поехали по лугу, над которым еще витал аромат смятой травы и ни одной купальницы не росло больше.

— Видишь? — сказал конюх. — С ней он как теленок. А без нее — прямо звереет. Так я что делаю? Либо парой ездим, либо выпускаю серую, и она, что твоя собака, бежит рядом. Набаловалась. Ну, с этой я еще справляюсь. Тоже мне, характер!

Ополев придержал кобылу. Деспот еще минуту по инерции стремился вперед. Ополев успел тем временем укрыться за группой молодых елей. Там он и услышал, как вскрикнул и зачертыхался конюх, затем раздалось тревожное, похожее на крик ржание, топот, и показался Деспот без всадника. Подбежал к серой, заржал негромко, успокоенно.

Пряча сердитые глаза, подошел конюх, взобрался в седло:

— Что не предупредил-то?

Жеребец снова стоял смирно, не выказывая никаких признаков норова.

Вечером, уединившись в комнате, отведенной ему старухой хозяйкой, Ополев все думал о Деспоте и дивился: однолюб!

Вошла хозяйка и недовольно сказала:

— Выдь-ка, кличут тебя, — она всегда и со всеми разговаривала недовольным тоном, словно каждый чем-то ее обидел.

У крыльца стояла зоотехник. Распахнула пугливые глаза на встречу:

— Конюх говорил, вы всех обучили...

— Не всех. Стыдно сказать — обученного обучал! Сколько времени потратил даром. Денником, понимаешь, ошибся.

Девушке хотелось сказать, что она видела, как он мучился с Деспотом, хотелось попросить: «Не уезжайте, побудьте еще!», но это и без слов было написано на ее лице. Она смутилась еще больше, опустила глаза и увидела его руки, сухие, сильные, спокойные. От него пахло лошадьё и терпкой горечью смятой травы, ветром, волей и еще чем-то чему нет названия. Всей сутью своей был он из нездешних, отличный от всех, кого она знала, непохожий ни родом занятий, ни складом характера, ни даже внешностью. Можно было и не приходить сюда сейчас; что требовалось сказать ему, она могла бы сказать завтра или послезавтра или когда он пришел бы за расчетом в контору, но она пришла и в свое оправдание сказала:

— Из соседнего хозяйства звонили, спрашивали, когда освободитесь.

— Дня через два-три.

— Так скоро?

— У вас лошади покладистые!

— Ну да...

Она помолчала, не торопясь уходить, потом обронила: «Ну ладно», — и пошла от крыльца.

Уходила она медленно, наклонив голову, в какой-то странной рассеянности ощущая на своей спине долгий провожающий взгляд Ополева. Все в нем порывалось окликнуть, остановить, шагнуть следом, но — не посмел.

Уезжая из хозяйства, Ополев поборол в себе тайное смятение и зашел к зоотехнику, оставил свой адрес.

— Будет нужда — сообщите.

— Будет, — взглянула в глаза его девушка и смутилась, вздохнула, словно сглотнула судорожный ком в горле и повторила спокойнее. — Будет!

Письмо от нее пришло следующей весной. Она просила приехать обучить подросших жеребят. Несколько месяцев возил он это письмо с собой, перечитывая и снова складывая, то решаясь ехать, то пугаясь чего-то. Потом поехал. В колхозе сразу же, не заходя в контору, направился на конюшню. Конюх бранил Деспота, стоя у его кормушки:

— У, ирод! Ешь, тебе говорят! Будешь мне тут капризничать!

— За что это вы его?

— Да вот!.. не жрет ничего. Вторую неделю. Ешь, тебе говорят!

— Болеет, что ли?

— В том-то и дело, что здоровый. Серая вон подохла. Так он голодовку объявил.

Ополев долго рассматривал исхудавшего жеребца. Деспот не просто исхудал, он как-то пал духом. Искрометные, живые прежде глаза его потухли и не выражали ничего, кроме глубокого безразличия ко всему. Даже на замахивания конюха он не реагировал.

Ополев сказал с сожалением:

— Помрет!

— Я ему помру! Я вон уже уколы делать научился. Буду глюкозой пичкать, пока не одумается.

— Вы попробуйте другую кобылу в соседний денник поставить...

— Пробовал! Словно не видит. А то начнет бить в стенку прямо-таки с ненавистью. Кобыла от страха заходится.

— Ничего, привыкнет.

— Когда привыкнет? Того гляди, ноги протянет...

Тягостное впечатление от вида потухшего, безжизненного Деспота не прошло. До вечера Ополев ходил сам не свой. За ужином спросил у хозяйки, не вышла ли замуж зоотехник.

— За кого тут? — проворчала старуха. — Одни пьяницы. Уехала. Не в старых же девах оставаться.

— Куда уехала?

Старуха посмотрела на него, со скрытой издевкой отрезала:

— А то нам неведомо!

Прошел и еще год. И снова в мае приехал Ополев в «Рассвет», Денник Деспота был пуст. Конюх горевал по утрате, жалел кра-

савца жеребца, даже тщательно, красиво написанную кличку оставил на пустующем деннике. Но видно было, что место это пустует давно, пол был чисто выметен и сух.

— Пал? — спросил сочувственно Ополев.

— С тоски подох. Ты вот докажи людям, что так бывает! Мало я его ходил, лелеял...

— А ветеринар — что?

— Дистрофия, говорит. От истощения. Дак ясно — от истощения! Он же не жрал ничего. Теперь получается, вроде как я его заморил. Докажи теперь... Да шут с ними, людьми! Коня жалко.

## ПОЧТОВАЯ ДИСЦИПЛИНА

Были, были времена, когда от почтовой лошади зависели судьбы государств, но ушли в прошлое конные почтовые дороги, «ямы» — почтовые станции, ямские тройки и ямщики.

Между тем, как это ни покажется странно, почтовые лошади не вымерли подобно мамонтам, при желании и сегодня можно найти почтовую лошадь там, где время двигалось недостаточно быстро.

Орлик был такой почтовой лошадейю. Он доставлял почту из узла связи до почтового отделения на самом краю района. Из пункта «А» в пункт «Б» ходил Орлик изо дня в день наикратчайшей дорогой добрых два десятка лет. Но и этой кратчайшей дорогой выходило немало: четырнадцать километров в один конец. А если сосчитать и обратный путь, да всякие привороты почтальона Фомина в магазин и к старухе матери в такую же ветхую, как сама она, деревеньку вдали от дороги, то и вовсе набиралось порядочно. Порядочно, потому что возраст Орлика перевалил за тридцать. Если пересчитать его годы в возраст человека — а возраст лошади соотносится с человеческим как один к четырем — то получается и вовсе внушительная цифра.

Сколько помнил Орлик, на нем всегда ездил один и тот же человек. Фомин с Орликом — ветераны. Орлик, некогда серый в яблоках, побелел от старости, словно растерял по дорогам свои яблоки, а многими дождями смыло на боках все отметины от них. Фомин тоже побелел под стать мерину, только пшеничные, молодцеватые усы седина не брала.

Одна на двоих им выпала дорога. Весеннее и осеннее бездорожье — неуважительная причина для тех, кто ждет письма, а зимние заносы — и тем более. Так и получалось, что круглый год Фомин с Орликом маялись по бездорожью. Собственно, ездили они по дороге. Но была та дорога до того тракторами разбита, что поперек ее невозможно было переехать, не то что осилить вдоль. Только зимой,

в редкие безметельные дни дорога радовала. А всю остальную часть года приходилось Фомину для своего мерина выбирать закрайки, вести его в поводу обочь дороги, прорубать в лесу проходы, петлять так и эдак, изредка присаживаясь на подводу. Но дорога, сколь ни кружи возле нее, все числилась четырнадцать километров.

Две речушки пересекали дорогу и множество оврагов. Речушки весной словно с ума сходили, разливались так, что часть полей ближайших затопляли, а уж дорога и вовсе скрывалась под водой надолго. Овраги и после того как сойдет вода, долго не просыхали, коварно засасывали колеса. Орлик приходил домой по самую спину в грязи и настолько измученный, что сразу же ложился, едва переступал порог конюшни. А утром опять приходил Фомин и просил:

— Вставай, голубчик. На том свете отдохнем.

Орлик поднимался, послушно совал морду в хомут и без понуканий заходил в оглобли.

Случалось, Орлик на полпути выбивался из сил и вставал где-нибудь в овраге, не в состоянии вытащить повозку из жадно чавкающей грязи. Тогда Фомин выпрягал его, в отчаянии махнув рукой на повозку:

— Нехай сгниет тут!

Он разводил костер, подводил потного и грязного Орлика, и они оба отдыхали. Костер прогорал и Фомин качал головой сокрушенно:

— Ну что, Орлик? Не бросать же в самом деле эту колымагу? На чем тогда почту возить станем?

Отдохнувший Орлик с усилием налегал и повозка медленно, неохотно подавалась.

Орлик был низок на мохнатых своих ногах, нетороплив, ходил он вечно с опущенной мордой, большие уши его поднимались и опускались в такт движению, нижняя губа отвисала и при движении издавала слабый шлепающий звук. Когда Фомин, баловства ради, давал коню сахар, тот долго гонял во рту твердый кусочек, пока сахар не намокал и не рассыпался там. Тогда Орлик долго стоял, задумчиво покачивая головой, наслаждаясь ощущением сладости во рту, и нижняя губа его снова сонливо отвисала.

Всякий назвал бы Орлика доходягой. И был бы прав. И все-таки Фомин гордился Орликом. Ни одна другая лошадь не осилила бы эту дорогу. Даже трактор иной раз оказывался бессилён. В бездорожье Орлик был единственной связью между почтовым отделением с шестью небольшими деревеньками и всей многолюдной иной землей. Орлик будто бы понимал свою необходимость и старался изо всех сил. Дорога давалась ему с каждым годом все труднее. Фомин где плечом, где иным способом помогал ему, но расставаться с Орликом не желал. Слишком многое их связывало.

Ушел он на пенсию, а работать продолжал. Потом здоровье стало подводить, запросился на покой.

— Хоть перед смертью, — говорит, — отдохну да поживу побарски.

Подал заявление и в самом конце февраля не вышел на работу. О коне он продолжал заботиться, разговаривал с ним, приходя на конюшню.

— Вот и стали мы никому не нужные, два седых человека.

Фомин слышал, что душа умершего человека переселяется в животных. Он искренне верил, что в Орлика переселился добрый, работающий человек и жалел этого человека, два своих века отдавшего работе, потому и разговаривал с Орликом, как с равным, всячески сострадал ему и ни разу не обидел за годы работы. Не райская жизнь была у Орлика, но доброе обхождение скрашивало все неудобства, потому служил он верой и правдой столь долго. В таком преклонном возрасте к работе способны очень немногие лошади.

— Устал, голубчик? — спрашивал Фомин у коня, когда ставил его в сарай, приспособленный под конюшню.

Орлик опускал голову, уши его обвисали, он терся мордой о голенище сапога, словно большая кошка.

— Все-то ты понимаешь, — вздыхал сердобольно Фомин. — Только сказать не можешь.

Орлик медлительно кивал и потряхивал большой головой, челка застилала его добрые усталые глаза.

— Как мы с тобой расставаться-то будем? — спрашивал Фомин, и его тянуло на слезу. Он свертывал козью ножку, садился в воротах, расправлял негнувшиеся старые ноги и ждал времени, когда придет пора кормить мерина. Уходя, проверял заботливо копыта. Не отрываясь от овса, Орлик послушно подавал то одну, то другую ногу. Благополучие коня в его копытах.

...Целую неделю Фомин отдыхал. Не то чтобы болел, не то чтоб нет... Пока работаешь, преодолеваешь свои хвори, а стоит отойти от дела, расслабиться, так они все враз и навалются.

Лежал Фомин целыми днями на печи, грел большую спину. Но какое там лежание! Вертелся с боку на бок.

Однажды пришла Ленка, заведующая почтовым отделением. Фомин втайне ее недолюбливал, несмотря на то, что Ленка приходилась ему племянницей. Соплюха! Без году неделя как из пеленок выпросталась, а начальницу из себя корчит. Одно примиряло Фомина с Ленкой — без него она была ничто, нуль без палочки. Не привезет Фомин почту — все, вешай замок на двери. Делать нечего. Безработица.

— Дядя Гриша дома? — звонко спросила Ленка.

— А пошто шумишь? — выглянула с кухни жена Фомина, тоже вся седая. — Завели моду, раз старый человек, дак и кричать надо, ровно все глухие. Дома! Где ему еще быть! Григорей! Тут до тебе...

Кряхтя, Фомин слез с печки, зябко передернул плечами:

— Совсем кровь холодная стала, не греет. Только на печи и не зябну.

— Дядя Гриша, очень прошу, съездите последний раз за почтой. Третьего дня я сама ездила, на попутной... А сегодня не на чем. Завтра Восьмое марта. Бабы с утра ходят, спрашивают: будет почта или нет? От детей поздравлений ждут. А, дядя Гриша?

Фомину льстило, что без него обойтись не могут. Но спросил недовольно:

— Так каждый день и будешь ходить?

— Зачем каждый? Найдем человека... Не век же без почты сидеть. Съезди, а?

— Хворый я. Колет под лопаткой, и все тут. Подохнуть из-за почты, что ли?

— Что же делать? — потускнела Ленка. — Там еще Татьяна Спирина ждет. Хотела с тобой попутно доехать. Отпуск у нее кончился. На работу надо.

— Вот пусть и едет. Я запрягу. Обратно Орлик сам почту привезет.

— Не поняла, — простодушно созналась Ленка.

— Чего тут не понимать? — загорячился Фомин. — Орлик дорогу и с завязанными глазами найдет. Тем более дорога сейчас — только кати. Я, когда такая гладь, не правлю. Завернусь в тулуп и сплю.

— А кто отвечать будет, если что пропадет?

— Не пропадет! Пусть Спирина вожжи-то сымет да почту ими привяжет. Чтоб не вывалилась.

— Так ведь за почту расписаться надо.

— Что, Танька расписаться не сумеет?

— Орлик точно придет?

— Говорят тебе!

Так и порешили. Фомин запряг Орлика, подогнал его к почтовому крыльцу. На крыльце, возле груды посылок, Ленка говорила Спириной:

— ...Гвоздики даже растут. Представляешь?

— Где?

— Да у них же, дома. В огороде.

— А-а... Ну и что?

— Как что? У нас же не растут!

— У нас север.

— Вот и я про то. Ты живые гвоздики видела?

— Видела. На рынке.

— А я — не видела. А Вася сказал — пришло.

Фомин знал, о каком Васе речь. С осени жили в деревне геологи. Вездеход водил Вася. Вся деревня знала, что он теперь пишет Ленке.

— Хватит лялякать, — скомандовал Фомин. — Давай почту.

Почту погрузили. Спирина надела на пальто серый халат, повозилась в санях, устраиваясь удобнее, взяла вожжи. Орлик затрусил своей неторопливой, малоподатливой рысью.

— Не особо погоняй! — прокричал вслед Фомин. — Мерин не молоденький.

— Ладно!

— Вот, — посмотрел на часы старик. — В полтретьего станем ждать.

Они зашли в почту, Ленка села за свои бумаги, Фомин пристроился напротив, протянул мечтательно:

— Ленка-а... Знаешь, я вчера в газете вычитал... Там конный пробег на ахалтекинских лошадях три тысячи верст отмахали.

— Ну и что?

— Так Орлик за свою жизнь больше прошел. А о нем в газете не пишут.

Ленка сказала, что ей все одно, ахалтекинцы или Орлики, приказала не отрывать ее от дела, и Фомин направился домой, снова залег на печь. И заснул. И приснилось ему: идет собрание. Начальник районной почты речь говорит: «За долгую безупречную службу в связи с уходом на пенсию наградить Фомина памятным подарком в виде коня Орлика...»

Что он там еще говорил, Фомин не слушал, проснулся, ошалевший от радости.

— Жена! Слышь!

— Слышу, слышу.

— Мне Орлика решили подарить!

— Присни-илось! — едко протянула старуха, и Фомин пришел в себя.

Немного опечаленный, что действительно — приснилось, он надел фуфайку и пошагал на почту. Орлик еще не вернулся.

На почте былолюдно. Бабы в ожидании писем стояли и сидели, негромко переговаривались. Бывалое ли дело! Третий день без писем-газет...

Фомин протиснулся к окошечку, поманил Ленку пальцем:

— Знаешь, мне сейчас приснилось, будто Орлика решили мне за выслугу лет подарить.

— Зачем он тебе?

— Как — зачем? — поперхнулся Фомин, ошарашенный таким вопросом. — Кормить-пойть буду.

— За что?

Фомин посмотрел на нее, как на дурочку.

— Э! Да что ты понимаешь!

Он ушел на свое любимое место за печкой и засопел там обиженно, раскуривая козью ножку. Что может понимать эта пигалица в дружбе между конем и человеком! Он так разнервничался, что за-

был смотреть на часы и очнулся, когда бабы начали вздыхать и охать:

— Три, а его нет.

— Не придет...

— Может, почту не дали?

— Пустой вернулся бы.

— Говорят, егерь третьего дня волка видел. У дороги.

— Ты накаркаешь сейчас!

— А может, и не волка?

— Долго как...

— Что ты хочешь? Не на реактивной тяге.

— Придет, куда девается!

Орлик «подрулил» к почте в четыре, когда его и ждать перестали, но все не расходились, только разговоры вели все о другом — о доме, о скотине, о работе. Орлик встал у крыльца так, как его Фомин каждый раз ставил — сани впритирку с нижней ступенью.

Фомин на радостях целовал Орлика в морду, бабы таскали мешки с газетами и посылками. Потом Фомин отвел мерина в конюшню, по привычке посидел у ворот, напоил коня и опять заглянул на почту — похвастать, какой Орлик молодчина. На почте никого уже не было, одна Ленка сидела за своим столом, торжественная и взволнованная, такая, будто у нее сегодня великий праздник. В стакане перед нею стояли три красных цветка на длинных голых стеблях.

— Что это? — удивился Фомин, показывая на цветы прокуренным пальцем.

— Гвоздики! — радостно заулыбалась Ленка. И рассмеялась, когда он недоверчиво притронулся грубыми пальцами к одному цветку. Смех зазвенел колокольчиком, и даже когда она перестала смеяться, звон этот все еще витал и отдавался в углах комнаты.

— Живые, что ли?

— Сам видишь!

— Откуда взялись?

Ленка снова рассмеялась, хитро поблескивая глазами, потом открыла секрет:

— Орлик привез.

Трогательная улыбка озарила лицо старого человека. Он шел домой с этой неугасающей улыбкой, и виделся ему одиноко бредущий по пустынной зимней дороге Орлик, и поклажу на санях венчали три гвоздики, покачивающие красными головками. И дивился старик, как могли уберечься, не замерзнуть зимой цветы. Верно, и впрямь Васья не зря Ленке пишет. Вот сумел же цветы от мороза так упрятать!

С той поры возить почту на лошади перестали. Доставляли ее трактором, когда как придется, чаще по пути, но всегда нерегулярно. Фомин, оглаживая совсем уж одряхлевшего Орлика, вздыхал:

— Нам бы с тобой годков сбросить! Мы бы им показали, что есть почтовая дисциплина!

## ОНА ВСЕ СТОИТ

Степан Бураков нашел своего товарища по автоколонне под машиной — одни сапоги торчали. Степка присел подле колеса, позвал неуверенно:

— Виталий, послушай...

— Чего? — отозвался глухо Гришин и повторил с досадой: — Ну, чего?

— Она все стоит, понимаешь...

— Кто стоит?

— Да лошадь!

— Какая лошадь?!

— Та самая. Помнишь, у дороги?

Гришин вспомнил. Несколько дней назад они со Степкой вместе отправлялись в рейс в один из дальних районов. Степка всегда отрывался, уходил вперед — у него машина была понадежнее, — потом поджидал товарища где-нибудь на дороге. И в этот раз Гришин издали увидел знакомый номер его газика. Машина стояла, а Степки не было. Остановился, вышел из кабины. Неожиданно Степка подкатил сзади на белой лошади, смеясь, пояснил:

— Еду, понимаешь, она стоит. Дай, думаю, прокачусь!

— Ну и как?

— Ничего!

— Дай я?

— Не дам. Она устала. Видишь, потная!

Степка привязал лошадь у березы:

— Она тут и стояла, — и поехали машины дальше.

На обратном пути Гришин снова застал товарища подле лошади. Степка невесело гладил ее по гриве, сказал как-то растерянно:

— Она и вчера здесь стояла...

— Ну и пусть себе стоит, — хлопнул дверцей Гришин. — Экое дело, лошадь стоит! Привязали, вот и стоит. Может, за грибами кто приехал.

На следующий день было опять то же самое. Свет фар выхватил из темноты стену белых берез, и вдруг, в пяти шагах от дороги — белая лошадь. Приземистая, неказистая, сиротливая.

Степка опять остановился.

— Чего ты? — рассердился Гришин.

— Напиться хочу.

— Далось тебе!

Потом Степка подошел и спросил:

— Четыре ведра выпила. Как ты думаешь, много это или мало? Давно она непоеная?

— Почему я знаю!

И вот опять, теперь уже в гараже, Степка пристаёт с этой чертовой лошастью.

— Понимаешь, она стоит. Я с нее вчера седло снял. Так никто не заседлал.

— Ну и что! Стоит, значит, кому-то надо, чтоб стояла.

— Кому надо?

— Вот прицепился!

Степка направился за путевкой. Лошадь никак не выходила из головы. Послали его в ближний поселок, а он выехал из города в противоположную сторону. Из придорожной скирды вытащил пару кип сена, привез лошади. Животное с жадностью набросилось на еду.

Степка сидел рядом, разговаривал с лошастью:

— И давно ты стоишь? Бросили тебя, что ли?

Трава под ногами лошади была выбита. Бока лошади запали. Видно было, что голодает она давно. Степка только теперь это понял, и ему стало стыдно за свою недавнюю скачку на голодном животном.

— Изверг твой хозяин! — сказал он, чтоб снять с себя вину, и уехал.

Вечером он снова гнал машину к знакомому месту. И снова свет фар выхватил из темноты понурую белую клячу. Живот ее заметно округлился. Сытая, она спала стоя. От двух кип ничего почти не осталось.

Степка сложил раскиданные остатки сена покучнее перед нею, выпоил два ведра воды и со спокойной совестью уехал.

Потом несколько дней ему было недосуг, за делами он забыл о лошади и удивился, когда однажды утром к нему подошел Гришин и с каким-то удивлением сказал:

— А она — все стоит.

— Кто стоит?

— Лошадь твоя.

...Степка гнал машину на предельной скорости. Лужи на асфальте, вспоротые его машиной, взлетали подобно крыльям. Шел дождь. Наступала пора осенней непогоды. Стылый ветер срывал листья с берез, и они стаями летели над дорогой, навстречу машинам, роились вслед и долго не могли успокоиться, не находя себе места. Неуютно было даже в машине.

Лошадь под дождем сгорбилась, выглядела жалкой и несчастной. Увидев Степку, она негромко заржала. Смотрела с надеждой, перетаптывалась, словно сказать что-то силилась и не могла. Что она хотела сказать? Что голодна? Это было и без слов ясно. Или хотела рассказать, как чужой человек однажды взнуздal ее в конюш-

не ночью, долго гнал, больно стегая; утром бросил у дороги, где ежеминутно сновали машины, остановил попутную и уехал? Лошадь так устала, что не нашла сил отойти от дороги. Потом дыхание восстановилось, она пришла в себя, потянулась к траве...

Поесть ей не дали. Одна из машин остановилась на обочине. Пахнувший бензином человек взял лошадь и привязал к дереву:

— Дождись хозяина. Тут у дороги на виду. А то уйдешь да потеряешься.

Так и стояла лошадь много дней. Сентябрьские ночи становились все холоднее. А тут еще дожди начались. Она дрожала. Чтоб согреться, нужен был корм. А корму не было. Она пыталась грызть березу, но дерево оказалось неподатливым и совсем несъедобным. Она пыталась порвать привязь, но ремни уздечки больно врезались в кожу за ушами и не хотели отпускать. Лошадь ржала тоскливо. Проезжающие мимо люди за гулом машин не слышали ее. Многие видели ее неоднократно, и все удивлялись, почему хозяин привязывает ее на одном и том же месте? Куда уходит? Что делает? Никому в голову не приходило, что хозяина — нет.

— Слушай, тебя отвязать надо! — решил Степка. — Ты сама домой уйдешь, правда?

Откуда было знать Степке, что лошадь уже настолько обессилела, что до дому ей просто не дойти.

Он заседлал ее, взгромоздив на спину тяжелое, намокшее, потевшее форму седло — не пропадать же вещи, — и сказал:

— Топай давай!

Лошадь осталась стоять на месте, понурившись и подобрав под себя ноги.

— Иди-иди! Ты же свободна.

...Гришин возвращался из ночного рейса, издали увидел на дороге Степку, посигналил ему, требуя остановиться.

— Чего тебе?

— Да лошадь та все стоит!

Степка сердито развернул машину. Сколько можно отвлекаться от работы из-за чьей-то лошади!

Лошадь стояла все на том же месте. Седло на ней, похудевшей и уменьшившейся, выглядело неестественно большим и тяжелым. Она безучастно посмотрела на Степку, через силу сжевала кусок ржаного хлеба, который он ей протянул. Глаза ее слезились, ноги подкашивались.

— Плачешь? — спросил Степка. — До дому не дойти. Ладно, помогу тебе последний раз!

Он нашел рядом подходящее место, подпятился, буксуя по раскисшей глине, долго вел к машине едва шагающую лошадь. В кузове кобыла легла.

В тот день Степка не выполнил указанной в путевке работы,

но сжег весь бензин, каким заправил бак утром. Ездил из колхоза в колхоз, спрашивал:

— У вас не пропадала лошадь?

— Не! У нас их вообще нет! — отвечали в одном.

— Какая? — спрашивали в другом.

— Белая.

— Белых у нас отродясь не водилось!

В третьем месте ему сказали:

— Спроси, парень, у конюха!

Он разыскал конюха, тот заглянул в машину и ужаснулся:

— Довели кобылу! Таких сухоремых не держим.

— Что же мне с ней делать?

— Ты из города?

— Из города.

— Вези в татарскую слободу. Может, на мясо возьмут.

На мясо Степка не хотел. Жаль было лошадь. Он долго еще ездил по раскисшим осенним дорогам и набивался:

— Возьмите лошадь! За так отдаю. Хорошая лошадь.

В кузов заглядывали и смеялись:

— Да она уже наполовину неживая!

Близился вечер. Степка досадовал на себя, на лошадь, на ранние сумерки, на то, что бензин кончался... Не ехать же с лошадью в гараж! И, отчаявшись, поехал в татарскую слободу.

Ему посоветовали обратиться к одному старику, тот взглянул на лошадь и рассердился:

— Чего ты ее мучишь! Свези на пункт вынужденного забоя. Торопись, через полчаса закроют контору.

Степка так и сделал. Машину с лошадью взвесили, показали, куда запянуться, включили подъемник. Газик подняло, лошадь вывалилась как была, с седлом и уздечкой; ударившись, она попыталась встать, заржала хрипло и испуганно; ловкий малый подскочил с ножом, несильно ткнул в горло, из невидимой ранки вяло ударила кровь...

Через минуту все было кончено. Транспортер увлек неподвижную белую тушу внутрь помещения.

...Прошли годы. Часто приходилось Степке проезжать мимо той березы, отметины от лошадиных зубов на которой почернели и оплыли, и всякий раз, приближаясь к знакомому месту, ждал Степка, что сейчас, вот сейчас, за поворотом, фары высветят в ночи белую, похожую на призрак, лошадь. Но фары высвечивали сплошные белые стволы...

Теперь он нашел бы, как помочь лошади. Десятки вариантов созрели в его голове. Но та, спасенная, все стояла перед глазами, все заставляла возвращаться к этим мыслям вновь и вновь...

## ЖЕРЕБЕНОК

— Какой маленький! Какой хорошенький! — приговаривала ласково Серафима, вытирая полотняной тканью новорожденного. Жеребенок фыркал, встряхивал головой. Мокрая, едва наметившаяся гривка прилипла к шее и местами смешно топорщилась.

— Ладненький мой! Мушка, посмотри! Посмотри на своего жеребеночка!

Мушка ожеребилась лежа, еще не встала и, тяжело дыша, отдыхала от потуг. Она вспотела, как после тяжелой работы. Повлажневшая шея рослилась.

Кобыла равнодушно наблюдала за хлопотами хозяйки. Она была молода и еще не понимала, что это такое — жеребенок.

— Мушка! — не унималась Серафима. — Ты только посмотри, кого родила!

Жеребенок заржал встревоженно. Мушка встрепенулась, с усилием поднялась, недоверчиво обнюхала свое детище.

— Твой, твой! — смеялась Серафима. — Не веришь?

Телята оглушительно кричали, требуя корма. Мушка обслуживала телятник, на нем и жила. Ходила за телятами Серафима.

— Подождете! — отмахнулась она от телят. — Тут жеребенок. Первый раз. А вам не терпится. Не горит!

Облизывая жеребенка, Мушка ржала тихонько, — разговаривала с ним. Серафима хотела еще раз погладить малыша, но Мушка сердито прижала уши и огрызнулась.

— Мушка? Ты что? На меня? — изумилась телятница, всегда уверенная в кротости своей лошади. За нрав Серафима называла кобылу послушницей. Послушница, неспособная постоять за себя, показывала, что за жеребенка постоять сумеет.

Мушка больше не подпустила хозяйку к жеребенку. Опасливо вытягивая впереди себя руки с уздечкой, струхнувшая Серафима взнузда кобылу, привязала, помогла жеребенку встать на ноги, и старательно подсовывала его под вымя. Жеребенок оказался тяжелый, норовил упасть. На телятнике тепло и душно от испарений, Серафима взмокла. А жеребенок все тыкался в пах кобыле, не понимая, чего от него требуют. Мушка нервно перетаптывалась, пытаясь достать и оттолкнуть женщину мордой. Забыв, что надо опасаться защищающей жеребенка ревнивой мамыши, Серафима залезла под кобылу вместе с малышом, силой сунула ему в рот материнские соски и надавила на них. Липкое, густое молоко потекло по пальцам.

— О, сколько много! — обрадовалась Серафима. — Молозиво — для таких маленьких первейшее лекарство. Пей, дурачок!

Жеребенок оказался понятливым. Жадно припал к вымени, пошатываясь на слабых ножках, то и дело теряя сосок. Высунув розо-

вый язычок от усердия, он причмокивал, тычась в бока и ноги матери, снова находил еду и жадно сосал. Мушка старательно приседала, чтоб жеребенку удобнее было сосать, и все порывалась тронуть его носом. Серафима отвязала ее, вышла из стойла и долго любовалась на начавшего обсыхать мальчика. Даже телята перестали мычать и не портили ее радости.

Мушка была не единственная лошадь в деревне. На всю Камынинскую бригаду было две лошади, и обе жили в Камынине. Вторым был Соколик. Он жил на ферме, в отгороженном от коров закурке. Летом на нем пасли, а зимой ездил бригадир по своим делам. В упряжи работать Соколика обучить было некому, ходил он только под седлом, поэтому все мелкие деревенские работы приходилось делать Мушке. Она одинаково послушно тащила и сена воз, и плуг, и тарантас. На телятник Мушка возила концентраты, соль-лизунец, летом — траву, накошенную Серафимой.

Телятница жалела Мушку, берегла. Всякий раз, отдавая в чужие руки, строго наказывала не переневоливать кобылу. Но, и наказав, не могла утерпеть — бежала в другой конец деревни проверить, в каком состоянии ее Мушка. Если Мушка, впряженная в плуг или борону, оказывалась потной, Серафима сердилась, кричала на хозяина огорода, в гневе отбирала кобылу, тщательно обтирала, приговаривая:

— Пусть на себе теперь возят! Себя небось берегут, а Мушку можно не жалеть? Пусть еще придут попросят!

Мушка клала голову на плечо Серафимы с чисто человеческой признательностью, стояла неподвижно, полуприкрыв в истоме глаза. Серафима гладила ее по шее, по груди, перебирала гриву. Лошадь льнула к ней, вызывая волнующее чувство родственности. Если бы Мушка была человеком, они были бы подругами. Но Мушка была лошадью, и все, что могла сказать, говорила своей работой — несла свой крест безропотно, с готовностью. Правду сказать, тяжелая работа у Мушки была не каждый день. Смотря к кому в руки попадешь. С Серафимой же ей работалось легко, даже весело. На чужого человека она работала неохотно, но безупречно. Раз Серафима отдала, значит, так нужно.

Когда у Серафимы случались неприятности, она приходила на телятник и жаловалась Мушке: обнимала ее и плакала. Лошадь трогала ее губами — утешала.

А жаловаться было на что. Наверно, Серафима не вызывала симпатий у людей: тшедушное, задавленное работой создание, с неустроенной и незаладившейся личной жизнью, не способное ничему сопровтивляться, не имеющее опоры в жизни, все равно как растение без корней. Ходила она вечно в замызганном, обсосанном телятами халате, худая, с неприметным, невыразительным лицом, всегда одинаково наспех повязанная платком. Дома она переодевалась из

привычного, надоевшего халата, но, кроме как в халате, спешащую либо на телятник, либо с телятника, ее никто и не видел.

Людские симпатии были ей безразличны. Жаловалась она кобыле только на несправедливость бригадира Харлампыева. Бригада была невелика, — телятник, ферма да пара тракторов — вот и вся бригадирская забота. Харлампыев не был ленив, но частенько запивал, и тогда коровы и телята ором орала, требуя корму. До бригадира в такие дни докричаться было невозможно. Доярки давно это поняли и только переругивались между собой, нервничая из-за отсутствия корма. Выяснять отношения к бригадиру не ходили. Знали — пользы не будет. Одна Серафима по наивности своей и неколебимой чистосердечности стучалась в его дом и спрашивала:

— Егор Михайлович, долго ли корму-то не будет?

— Завтра привезу.

— Да ведь врешь!

— Пошла ты!..

— Куда же я пойду? Сена-то нет.

Слово за слово, бригадир выходил из себя. Потом, проспавшись, он чувствовал свою вину перед Серафимой за свои оскорбления и еще больше ненавидел ее, за это ощущение вины, за ее наивность, за ее безропотность. Она никогда на него не жаловалась начальству, никому о нем слова худого не говорила, и в этой ее неотмщенности было что-то беспокоящее, а потому неприятное такому человеку, как Харлампыев. Доярки ему просьбами не надоедали, а руководству жаловались так, чтоб сам бригадир ничего не знал. Он без угрызений совести появлялся на ферме после запоя. Спрашивал для порядка:

— Что, корма кончились?

— Али не видишь!

— Так ведь у вас перерасход. А вообще — могли бы сказать.

Всю жизнь ваши грехи покрываю, ну и этот раз...

Серафиме перерасхода он не прощал. Серафиме корма выдавал в обрез. Наверно, он сам не мог бы объяснить своей неприязни к ней. Но как в стае лесных животных наислабейший пользуется наименьшей жалостью, примерно то же испытывал он к Серафиме, во всех ее слабостях вина ее саму. Зачем от мужа уехала? Подумаешь, гордая какая! Вот теперь обеспечивай себя сама дровами на зиму, вкалывай за мужика и за бабу везде.

Серафима вкалывала. В тщедушном этом теле доставало силы на разные дела. Но если бы не помогала Мушка, было бы вовсе тяжко.

Летними вечерами на Мушке каталась верхом Ленка, Серафимина десятилетняя дочка. Выгоревшее платьице ее надувалось и взлетало за спиной, и сама она взлетала, словно парила над лошадью. Мушка разгонялась, как умела, в угоду девчонке. Серафима не боялась за дочь. Она слишком хорошо знала Мушку.

В редкие летние дни, когда лошадь не нужна была, Серафима отпускала ее возле телятника, приговаривая:

— Поешь травки, умница. Травка вку-усная! А сено нам надоело. Правда, надоело?

Она разговаривала с лошадыю, как разговаривают с ребенком, и заботилась о ней, как о ребенке, не умеющем постоять за себя.

Однажды, когда Мушка паслась возле телятника, ее нашел сбежавший от пастуха Соколик. Он просто не мог не сбежать. В тот день Мушка то и дело бросала шипать траву, вся подбиралась, делалась стройнее, высоко вскидывала голову и призывно, звонко ржала. Ветер далеко нес ее заливистый, волнующий голос, и Соколик, едва его пустили в стадо, прынул прочь, навстречу этому чудному, беспокойшему голосу.



Серафима нашла их пасущимися вместе. Она заметила тот день и ласково оглаживала Мушку:

— Мамой будешь! Ни разу мамой не была? Не была! Жеребенок будет — весь в маму! Вот увидишь, как ты его любить будешь.

Когда Мушка начала жеребиться, Серафима, так долго ждавшая этого дня, растерялась и, хотя все было припасено за несколько недель раньше, суетливо носилась по телятнику, ничего не находя и хватаясь не за то, что надо; между тем жеребенок появился на свет и сразу начал брыкаться. Теперь Серафима простодушно всплескивала руками:

— Что, Мушка, я говорила — весь в тебя! Что я говорила!

Глаза Мушки горделиво и настороженно сверкали, она подталкивала жеребенка под себя.

Серафима не утерпела. Вместо того, чтобы приниматься кормить телят, побежала домой, похвастать Ленке. Ленка, узнав новость, одевалась на бегу. Ворвалась в телятник, бросилась на шею жеребенку и восторженно принялась тискать его. Жеребенок едва не падал от столь бурного выражения чувств. Ленка целовала его в мордочку и кричала на весь телятник:

— Он будет мой! Мой!

Ошарашенная таким беспардонным вторжением Мушка взволнованно переступала с ноги на ногу, взглядывая на Серафиму, словно пожаловаться хотела.

Жеребенок вырвался из Ленкиных рук и укувылял за мамку.

Шли дни. Жеребенок быстро прибывал. Ленка играла с ним, носясь по проходу и мешая Серафиме работать. Но когда Ленки не было на телятнике, Серафима, стыдясь своего желания, выпускала привыкшего резвиться на свободе жеребенка и бегала с ним вперегонки по телятнику, играла в прятки. Жеребенок отыскивал ее и толкал мордой: попалась! Всякий раз, когда он находил ее, Серафима награждала его сахаром.

Мушка беспокойно топала у себя за загородкой, окликала жеребенка испуганно. Увлеченный беготней, он не откликался.

Серафиме доставляли радость эти немногие минуты. Она оттаивала душой, становилась шаловливой девчонкой. Жеребенок вносил какое-то разнообразие в ее работу. Скучная работа на телятнике, без выходных и праздничных дней, приедалась настолько, что Серафима порой через силу заставляла себя идти на осточертевший телятник. Если бы там не было Мушки, а теперь еще и жеребенка, ее бы вовсе туда ничего не влекло. Оставить голодной Мушку было известно.

Зная привязанность Серафимы, бригадир однажды пригрозил:

— Будешь еще лаяться, Мушку на колбасу сдам!

— Как — сдашь? — похолодела Серафима и проговорила: — У нее же жеребенок.

Серафима думала защитить Мушку, но накликала беду.

— Какой жеребенок? — удивился бригадир.

— Маленький... — растерянно сказала она.

— Совсем маленький?

— Да нет. Три месяца.

— Что же ты раньше молчала?

— ...!

— Жеребенок-то неоприходованный, выходит? Ну, мы его с Комаровым завтра оприходуем! — потер руки бригадир.

Комаров был единственным в бригаде забойщиком скота. Серафима побледнела и твердо сказала:

— Не имеешь права!

Потом она решила, что бригадир пошутил. Такая злая шутка. Она опять оттаяла душой подле жеребенка — как можно такого славного обидеть? — и даже удивилась, когда на телятник бригадир явился с Серегой Комаровым.

— Ну, где твой жеребенок? — деловито спросил Харлампов.

— Не дам! — вскрикнула Серафима, бросая на пол ведра с телячьим поилом.

— Будто спрашивать пришли, — сплонул Комаров. — Если б ты хоть раз в жизни пробовала мясо такого вот жеребенка, ты бы сама просила.

— Чего мелешь!

— Любая скотина — скотина.

Харлампов изловил Мушку за недоуздок, попросил напарника:

— Подержи-ка!

Сам полез за жеребенком. Серафима обрела дар речи только тогда, когда беснующуюся Мушку заперли, а жеребенка потащили к выходу.

— Ироды! — точно клуша, налетела Серафима. — Ироды! Не трогайте. Не имеете права! Он же маленький!

— Кыш, пошла! — огрызнулся Комаров. Небритый подбородок его с редкой белесой щетиной воинственно выдвинулся вперед.

Они поставили жеребенка возле телеги, Серега достал из-за голенища нож, провел лезвием по рукаву ватника.

Серафима схватила очутившиеся подле нее вилы и, понимая, что еще мгновение — и будет поздно, — бросилась на ненавистного Серегу:

— Не тронь! Убью-у!

Вид ее был страшен. Глаза горели диким огнем, губы дрожали. Серега первым понял, что шутки плохи, коль дошла баба до такого состояния.

— Но-но, поосторожнее! — заорал он, пятясь. — Жеребенок не твоя собственность. А он — начальник. Бригадир. Как скажет — так и будет.

— Бычка берите. Любого. На выбор. Раз начальники. Слова не скажу. Жеребенка — не дам!

— Бешеная! — взглянул на телятницу Харлампов. — Я всегда знал, что ты — бешеная. Что ощерилась? Тебе же лишняя работа.

Дался тебе этот жеребенок!

Жеребенок вырвался и спрятался за спину Серафимы. Подойти к ней, расвирепевшей, мужики больше не решились. Ушли, срамно матерясь и оглядываясь.

А на другой день Серафима занемогла. С утра не смогла подняться, на телятник с трудом прибрела только за полдень.

Еще не доходя до телятника, почуяла неладное. Стены строения не в состоянии были удержать, утаить истошного, разрывающего душу, непрерывного ржания лошади. У двери возились собаки, что-то рвали, делили между собой. Собаки всегда сбегались сюда после очередного забоя. Серафима разогнала их. На подтаявшем снегу осталась требуха и обглоданные ноги с маленькими копытцами. Голова жеребенка с удивленными, широко раскрытыми глазами лежала за телегой, собаки к ней не подходили.

Серафима опустила ее на телегу и заплакала. Потом, — откуда силы взялись, — побежала к бригадиру.

Бригадир и Серега Комаров еще не вылезли из-за стола, сыто икали. Посмотрели на нее мутными глазами.

— Что ты наделал! — истошным голосом закричала, наступая, Серафима. Губы ее тряслись.

Харламповев рассмеялся. Он всегда смеялся, если ему удавалось кого-то довести до иступления. Это доставляло ему странное удовольствие. Он любил видеть людей слабыми. Тогда чувствовал себя не просто сильным — могучим, всесильным. Бригадир и должен быть таким. Иначе люди уважать не будут.

И Серафима поняла это. Она опустила на пустующий стул и тоскливо спросила у Комарова:

— Как ты мог?! Как мог?!

— Я — что? Мне приказали...

Серафима безудержно разрыдалась. Сколько слез она пролила из-за бригадира? Сколько еще нужно пролить? Во искупление чего? И сколько же есть их в ней, чтоб они могли когда-нибудь кончиться? Может ли вообще кончиться человеческое отчаяние? Может ли человек когда-нибудь привыкнуть к подлости, несправедливости, обидам? Раньше Серафиме казалось, что она уже привыкла, почти привыкла, осталось совсем чуть-чуть и душа настолько огрубеет, что перестанет чувствовать несправедливость, не станет замечать ее, как не замечает неровности дороги босая нога, если человек постоянно ходит босиком. Серафима ходила босиком, неприкрытой, незащищенной душой своей соприкасаясь со всеми гадостями, какие уготовила для нее жизнь, и все чего-то ждала...

Откуда, из чего прорезалось в ней убитое человеческое достоинство? Не просто прорезалось, но появилось с желанием защищать его, и не только его, свое достоинство, но и все, что требует защиты в этой жизни. Мушку, например. Кто же ее еще защитит? Ленку...

Кто защитит Ленку, если такие вот Харлампьевы начнут властвовать, не видя сопротивления? Надо сопротивляться. Не умеешь — научись. Надо...

Серафима подняла голову и ровным голосом сказала:

— Тебе это так не пройдет. Никогда не прощу. Украл... жеребенка...

Заплаканная Ленка встретила Серафиму дома, первыми ее словами были:

— Мама, он кричал... Он так кричал, даже в классе слышно было. Я все знаю!

На другой же день Серафима привела к телятнику Соколика и выпустила Мушку. «Не бойся, — шептала она. — Пусть попробуют тронуть этого жеребеночка. Я им трону!»

Мушка носилась вокруг телятника, все пыталась заглянуть в окна, словно там, в стойле, оставила жеребенка.

Возвращая Соколика на ферму, Серафима встретилась с бригадиром, прошла мимо с вызовом.

Вскоре Харлампьева сняли с работы. Возвращаясь домой с приказом об увольнении, он остановился подле Серафиминого дома, плюнул с остервенением:

— Тьфу! Из-за какого-то жеребенка!..